

Денис Гуцко

Лауреат премии «РУССКИЙ БУКЕР»

БЕТА-САМЕЦ

Роман



Жить на чужой орбите...

Денис Николаевич Гуцко

Бета-самец

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5005382

Бета-самец : роман / Денис Гуцко: Астрель; Москва; 2013

ISBN 978-5-271-46287-0

Аннотация

Денис Гуцко – прозаик, автор книг «Русскоговорящий» (премия «РУССКИЙ БУКЕР»), «Покемонов день», «Домик в Армагеддоне». Если первые его романы – о молодых людях, которые учатся жить, не теряя себя, то теперь писателя интересует человек зрелый, многое успевший и многое утративший.

Главный герой романа «Бета-самец» Александр Топилин вполне доволен жизнью. Ему сорок лет, он не женат и живет без обязательств. Он совладелец доходного бизнеса, его друг и партнёр Антон Литвинов – сын министра. Всё схвачено, все двери открыты. Топилин согласен оставаться на вторых ролях, играть по чужим правилам. Он – классический бета-самец.

Однажды Литвинов насмерть сбивает человека, и Топилин «улаживает формальности». Это события не его жизни, но именно сейчас он может всё изменить. Нужно только попытаться сыграть первым номером...

Содержание

Часть первая. Нелепая смерть	4
1	4
2	7
3	9
4	14
5	18
6	29
7	38
8	52
9	60
10	72
11	78
12	93
13	105
14	124
Конец ознакомительного фрагмента.	139

Денис Гуцко

Бета-самец

Часть первая. Нелепая смерть

1

Оставшись один, Топилин снял пиджак, бросил его в просторное кожаное кресло и уселся в соседнее. Смачно вздохнул, погладил пухлые подлокотники. Вдоволь налюбовался тлеющими узорами витража. Любил посидеть у Литвиновых тихонько в уголке, по-свойски забытый хозяевами – развалиться, расслабиться.

Снизу донеслись неразборчивые обрывки разговора. Два женских голоса. По лестнице беззвучно взбежала домработница Люда со стаканом холодного чая на блюдце – лишь ложечка, придавившая ломтик лимона, еле слышно звякнула. Толкая дверь, Люда замедлилась, поглядела на притихшую ложечку строго и по-кошачьи плавно ступила внутрь.

– Я вам попить принесла. Как вы любите.

– Поставь.

За приоткрытой дверью – тревожное копошение. Вздохи, всхлипы. Шорох тяжелых штор. Открывались и закрывались

дверцы шкафа, переставлялись стулья – быстро и четко, как фигуры в шахматном «блице».

– Ой, не надо.

– Все уже, Елена Витальевна. Все.

Из угла проходной комнатки, где сидел Топилин, была видна лишь проворная тень.

– Иди, Люда. Хватит уже, – простонала Елена Витальевна.

Появилась Люда – сосредоточенная, выверенная до мельчайшего жеста. Исчезла, оставив дверь полуоткрытой.

– Ооохматерьбожья... ооох...

Резко запахло лекарством.

– Мама, выпейте, – прошептал молодой женский голос. –

Привстаньте.

Оксана. Вошла через зимний сад, принесла свекрови успокоительного.

– Давайте помогу.

– Что это? – захныкала Елена Витальевна.

– Корвалол.

– Не надо...

– Давайте-давайте!

Скрип дивана. Кряхтение.

– О-ой... гадость...

Скрип дивана.

– Двери прикрыть? Мама, двери прикрыть?

Надсадно:

– Пусть. Пусть воздух...

В дверной проем нахлынула тень, вышла Оксана. Без косметики, в черной кофте, в длинной темно-серой юбке. Будто в трауре. Приветствовала Топилина кивком, печально поджатыми губами. Спустилась в холл.

Снизу шархнул топот – дети вбежали в дом – и тут же оборвался, наткнувшись на строгое шипение Люды.

– Кому сказано, не шуметь.

Детей увели на дальнюю половину дома. Стихло. Только вздохи, причитания Елены Витальевны:

– Божжемооой...

Топилин раскинул руки на подлокотники, прикрыл глаза.

Все позади. Для него все самое неприятное позади. Постепенно отдалится и забудется. Забывать не сложно. У Литвиновых, как и ожидалось, ему сразу полегчало. Надежная твердь ласково ткнулась в подошвы. Все эти охи-ахи, запах корвалола... послушно затихающие дети, бесшумная домработница, скупой отцеженный сквозь задернутые шторы свет... как ладонь на простуженную грудь: «Плохо? Пройдет, пройдет, потерпи»... Так и лезла на лицо улыбка. Хотя улыбаться, конечно, нечему.

Кажется, раннее лето. Грузный шерстяной шмель висит над моей чашкой. Гудит, шурует крыльями, переваливается с боку на бок. Наводит жуткую суету, оставаясь совершенно неподвижным. Окна открыты. Наш сливовый дворик опутан кружевной тенью. Стволы в мелу, будто в гольфах. Если прикрыть глаза и смотреть на них долго, стволы превращаются в девичьи ноги. Школьницы в белых праздничных гольфах. Много раз я пытался нарисовать сливовые деревья так, чтобы вплести в рисунок мои фантазии. Не получается. Либо деревья – либо девочки. Это меня огорчает: я собираюсь стать художником. Знаменитым. Впрочем, других, наверное, и не бывает.

Выходной. Отец в больнице на дежурстве, у меня *книжный день*. Я читаю – мама ходит на цыпочках. Готовит обед, изо всех сил стараясь не греметь посудой. Посуда, как обычно, шарахается от нее во все стороны – и мама охотится за ней, досадливо вздыхая. Чуть позже я попрошу маму принести мне еще чаю. Принесет молча – как папе, когда он сидит вот так же над книгой или над новой пьесой. Оторвавшись от страницы, я с удовольствием ухвачу новый, еще непривычный мамин взгляд – одновременно извиняющийся (я не помешаю, я тихонько) и вопросительный (ну как, правда здорово?). До чего же приятны эти мамины взгляды. Я – рабо-

таю. Как папа. Раньше, когда папа *работал*, мне доставался лишь укоризненный шепот:

– Тише! Папа работает.

А папа в этот момент сверлит взглядом стену или месит беспокойными пальцами лоб, нависнув над растрепанными листьями, как шмель над медовым чаем. Ерзает, шевелит губами. Только что не гудит по-шмелиному.

Выйдя на балкон, Оксана разговаривала по телефону. Судя по всему, с Литвиновым-старшим, главой любореченского Минстроя.

– Нет-нет, срочно вылетать не нужно. Антоша уже занялся. Вины его никакой... Точно... Никакой, Степан Карпович, абсолютно. Да... Плохо. С Еленой Витальевной, говорю, плохо. Переживает. Слегла.

Внизу, в холле, кому-то звонила Люда.

– Допоздна задержусь, – говорила она строго. – Так надо. Ничего. Много вопросов у тебя. Все! И не звони каждый час. Все равно не слышу, звонок выключен. Сама позвоню.

Происходящее выглядело так, словно у Литвиновых кто-то умер. Или покалечился. Заболел неизлечимо. И врачи огласили приговор. Но нет. Все живы-здоровы. Как раз наоборот. Антон, муж Оксаны, убил человека. Случайно. Случайно, нелепо. Тот выскочил в неподобающем месте. Антон, кажется, даже скорость не превысил, сразу начал тормозить... Ему бы руль покруче и на газ вместо тормоза – проскочил бы... совсем чуть-чуть не хватило.

Стоит вспомнить – перед Топилиным тут же всплывает вечерняя дорога, затяжной поворот на окраине Любореченска в сторону Южных Дач. Дорогу недавно расширяли, добавили полосу. Фонари еще не подключены, зато асфальт еще

не разбит. Приоткрыли окна, вдохнуть свежего воздуха после городского чада. Покрышки сонно урчат, ночь набегает мягко.

– Отличная машина, – похвалил Антон свой «трехсот пятидесятый» «Лексус». – Не пожалеешь.

Точнее, бывший свой «Лексус»: продал его Топилин несколько часов назад. Вообще-то Топилину нравились компактные «паркетники» – он ездил на «Тигуане». Но Антон намекнул, что «Фольксваген» как-то несолидно, и предложил свой годовалый «Лексус»: сам он решил пересесть на «Рендж Ровер». После оформления ездили вместе, сначала по делам фирмы, после – за продуктами в «Реал»: обоим нужно было закупиться. Присели ненадолго в кофейне, передохнуть. Заказали по капучино и по бутылке «Перье». Тележки с продуктами оставили на входе. Обеспеченные, глубоко положительные мужчины средних лет. Болтали о том о сем, как на волны морские поглядывая на посетителей торгового центра, сходявших с эскалатора, входивших на эскалатор.

После «Реала» Антон попросился за руль проданной машины – доехать домой, прокатиться напоследок. Вел спокойно.

– Смотри, Саша, ТО не пропусти, – напомнил Антон, перестраиваясь вправо, готовясь к повороту. – Эти гаврики перестали напоминать. Не звонят, как раньше.

– Еще три тыщи в запасе. Не пропушу.

– Масло лучше свое привези.

– Всегда так делаю.

– Там в последнее время бардак ужасный, мастера химичат, страха не имут.

На окружной было свободно. Частокол тополей проплыл мимо, распахнулось черное поле, дачный поселок рассыпался вдалеке и тут же скрылся за долгим пологим холмом. А сразу за холмом в свет фар шагнул человек с рюкзачком и фотоаппаратом на боку. Удивленно вскрикнул: «О!» Губы бубликом. Раскинул руки, будто старого друга встретил, – и через несколько секунд, наполненных матом Антона, визгом шин и стрекотом АБС, обнял сорвавшийся в занос автомобиль, ткнулся лбом в переднюю стойку прямо перед Топилиным. За эти секунды Топилин хорошо его рассмотрел. Будто полдня рассматривал. Худощавое, с четко прорисованными чертами лицо. Низкие плоские брови. Подбородок с ямочкой. Даже заросшие виски его, наползающие на уши волосы – и те успел высмотреть. Виски, правда, могли впечататься в память и позже... скорей всего... но, вспоминая о нем, Топилин каждый раз представлял его живым... неотвратимо приближающимся... и вроде бы боком уже, боком разворачивает, не должен боковой удар быть насмерть... не должен – насмерть...

– Нет, – удивился Антон и сдал назад, вернулся в свою полосу – словно отпрянул, на ногу кому-то наступив: простите.

Человек лежал в свете фар, широко разбросав руки, и не

двигался.

– Нет! – заорал Антон.

Подбежав, они застали его в агонии. Лопнул кровавый пузырь в ноздре. Крови из носа было много. Гримасничал – и вот затих, вытянулся в струнку, мгновенно посерьезнел. Светлый бежевый тифель из нубука, дырчатый, слетел с правой ноги. Носки неподходящего цвета, черные.

– Откуда он взялся, Саша?!

На соседней полосе остановилась немытая «десятка», замигала аварийными огоньками. В переднее пассажирское окно высунулся рыжий парень – чуть не по пояс.

– Херасе, – приговаривал он, дрожа от возбуждения.

Навел мобильник, готовясь снять свежего покойника, над которым еще клубилась дорожная пыль. Фотокамера самого погибшего валялась недалеко от «десятки».

Топилин подумал, что зря не любит Антон видеорегистраторов – раздражает его присоска на лобовом стекле. Единственный объектив, который был бы сейчас уместен.

– Бляааа, – изнывал рыжий, тыкая в телефон. – По ходу, капец чуваку.

– Залазь! – прикрикнул на него водитель. – Опаздываем.

В следующую секунду аварийка погасла, «десятка» рванула с места так, что рыжий чуть не выронил телефон.

Уже и на встрече притормаживали, высывались из окон. Фары «Лексуса» уперлись аккуратно в раскинувшееся на обочине тело, все как на ладони.

Антон сидел перед ним на корточках и бормотал:

– Козел. Козел, откуда ты взялся? Откуда? Здесь же поворот, не видно ни хера.

Из детсадовского тумана сохранился обрывок родительского разговора.

Папа (подходит к маме на кухне):

– Тебе сыночек прочитал свое стихотворение?

Мама (декламирует с гордостью, не отрываясь от чистки картошки):

– В зоопарке есть медведи, лисы и ежи. В зоопарк я прихожу, с удовольствием смотрю. Даже страшный бегемот очень симпатичный.

Папа (как бы размышляя вслух):

– Похоже на поэтический дар. Несомненно поэтический дар.

Мама (с шутливым возмущением):

– Григорий Дмитриевич! Оно, конечно, дар. Но мы же договаривались не мешать ребенку. Пусть сам.

Папа (обнимая маму):

– Да я так просто, знаешь... предположил. Интересно бы угадать. Но склонность к стихосложению, я бы сказал, налично.

Мама (смеясь):

– Тоже мне, угадывальщик... Кто кричал: будет двойня?

Папа (отпуская маму и поворачиваясь ко мне):

– Так пусть и отдувается за двоих. Поэт может быть еще

кем-нибудь. Дело житейское.

Еще был парк. В погожие выходные дни, ранним утром, мы с мамой отправлялись в парк имени Горького. Мама читала, я рисовал карандашом или пастелью.

Летняя сцена обнесена забором. Вечный ремонт – незаметный, неслышный. Лишь изредка одинокий молоток вдруг принимается взмахивать вколачивать в невидимые доски невидимые гвозди и замолкает так же внезапно, будто осознав тщету своего трудового порыва. Всхлипы метлы за поворотом аллеи, редкие бегуны-физкультурники, неторопливые пенсионеры, их избалованные собачки.

– Капа, Капа, ты куда?! Сейчас же вернись!

Рисовать парк – собственноручно сочетать простую прямоугольную геометрию с многоцветьем и сложной игрой светотени – я мог часами. Не хватало малого... Мама сдержанно хвалила мои художества. Она предпочитала видеть меня с книжкой в руках. В студии живописи при художественном училище, куда я попросил меня отдать, хвалили совсем уж редко. Станным образом волшебство рисования, переживаемое мной совершенно отчетливо и приносящее столько радости, в готовой работе никак не проявлялось. Терялось где-то между грифелем и бумагой.

Студию я забросил примерно через полгода.

И вот мы уже оба ходим в парк с книгами, я и мама. Сидели подолгу, пока не делалось слишкомлюдно. Мама запа-

салась бутербродами с маслом и сыром, сладким компотом в темно-вишневом термосе с гибко изогнутым золотистым драконом.

– Саш, давай перекусим?

Раскладывала льняную салфетку на лавке, вынимала бутерброды. Благодаря этим чтениям в парке я рано научился игнорировать насмешливые взгляды. Быть может, мама именно этого и добивалась. А может, и нет – просто не думала о насмешниках, и все. Как бы то ни было, я учился у нее этому роскошному безразличию, как когда-то учился ходить и говорить.

Я был пропущен через все эти книги, как через жернова. Они перемололи мою свеженькую душу в тончайшую муку, из которой следовало испечь нечто невыразимо прекрасное – а иначе зачем... Предчувствие особенного будущего томило меня. Вдруг вспомнишь: «А впереди ведь еще такое!» – и хорошо. Самые запоминающиеся приступы случались ненастными ночами, под гул дождя или порывы ветра, хватающего еловой лапой подоконник. Были они мимолетны, но обжигали такой отчаянной радостью, забыть которую невозможно.

Я, помнится, был патологически жаден до красоты. «Не от мира сего», – вздыхали мамыны коллеги-библиотекари, заметив, как я любуюсь конусами света под лампами книгохранилища. Маму эти слова раздражали. «Ну, хватит, – пресекала она библиотечарские вздохи. – Тутушние мы». Но что было, то было. Мог замереть восторженно при виде сухого

листа, вальсирующего в просвете аллеи. А потом, припоминая, какие петли он вывязывал, несколько раз кряду путать выходы в подземном переходе возле школы.

«Если не художником, то, может быть, все же поэтом», — размышлял я, вспоминая фурор, произведенный однажды на нашей кухне детсадовским стихотворением про зоопарк.

Я жил как за хрустальным забором — притом что никто никогда меня не запирали, не отгораживали от остального мира. Все было, было: одноклассники, одноклассницы. Учителя плохие, учителя хорошие. Оценки, каникулы. Завязывались и развивались отношения. Случались даже интересные сюжеты. Особенно когда в обитателях реальности открывались какие-нибудь полезные свойства. Например, своими поведками или обликом они годились для того, чтобы поместить их в пространство только что прочитанной книжки, которое оборвалось, но не отпускает и окликает на каждом углу... То есть нет, нет — была и жизнь сама по себе. В ней были люди *сами по себе*, которые впечатляли и отталкивали, радовали и огорчали. Было, что у всех бывает. Ссорился, дрался, что там еще... Засматривался на девчонок. Играл с мальчишками в футбол. А все же *остальной* мир то и дело оказывался пустоват и недописан и вызывал чувство гнетущей растерянности, как неудавшийся эскиз, который не умеешь исправить. Я очень скоро начинал скучать и сбегал обратно — к маме и папе, к рисованию и книгам.

По лестнице со стороны холла поднялся Антон. Проходя мимо, шепнул:

– Сейчас, две секунды.

Вошел в комнату к Елене Витальевне – вздохи и кряхтенья сделались громче.

– Как ты, мама?

– О-ой, да как тут... ужас какой, Тоша...

Скрип. Тишина. Елена Витальевна высморкалась.

– Может, «скорую» вызвать? Укол тебе сделают.

– Да какой укол, Тоша!

– Хочешь, отправлю тебя куда-нибудь? В Испанию. На Сардинию.

– Тоша, как же так вышло? Как же ты неосторожно так? Вбóдите как угорелые!

– Мама, – Антон заговорил, как терпеливый учитель с непроходимым двоечником. – Сто раз тебе повторил, могу в сто первый... Я не превышал, экспертиза подтвердила. Он выскочил на середину трассы. Темно было, на повороте. Машину занесло, я...

– Ну хватит, Тоша, хватит! Помню. Все я помню.

Антон помолчал.

– Тогда о чем ты спрашиваешь, мама? О чем?

– Не знаю о чем... Я ничего теперь не знаю! Зачем ты

вообще за руль в тот вечер сел?! Продал же машину! И отец, как назло, в отъезде.

Из холла поднялись дети, Вова и Маша. У старшего, Вовы, в руках радиоуправляемая стрекоза. У Маши – теннисные ракетки для детей и к ним большой поролоновый мячик. Маша приложила палец к губам:

– Тсс.

Топилин послушно закивал, тоже приложил палец к губам.

– Мы не шумим.

– Молодцы.

Вова молча показал Топилину стрекозу. Повертел так и эдак – мол, вон что у меня есть. Топилин завистливо скривил губы.

– Тоша, Тоша, – кряхтела Елена Витальевна. – Как же...

– Мам, – все так же прохладно и сдержанно отозвался Антон. – Поверь, мне сейчас очень... нехорошо... Тут ты еще, ма!

Елена Витальевна расплакалась, но как будто через силу. Плач, похожий на кашель.

– Я пойду, мам, извини. Оксану прислать?

– Не надо.

Навстречу появившемуся в дверях Антону наперегонки бросились дети.

– Па-ап! – заголосил Вова. – Ты научить обещал! Управлять! Она у меня падает все время.

– Папа, – кричала Маша. – Он со мной не играет!

Мячик вывалился у нее из рук. Антон поднял мяч, отдал дочке.

– Она не умеет! Как с ней играть?

– Сам не умеешь.

– Я умею!

– За забор все время выбивает. Люда сколько раз за ним ходила.

– Неправда, не «сколько»! Три раза всего!

Антон стоял, скрестив руки на груди, сдвинув брови. Дети поняли и умолкли.

– Идите к маме, – сказал он, отводя взгляд. – Я пока занят. Занят, понятно? И нечего орать. Вас же просили.

Вова с Машей ушли, переглядываясь: обычно отец не прогонял их от себя.

– Говорила, не надо, – отчитывала Маша брата, пока они спускались по лестнице.

– Я тоже говорил, – огрызался Вова. – Не ходи за мной. А ты?

– Будешь играть? В последний раз спрашиваю.

Антон прошел к двери, ведущей в зал, позвал Топилина жестом. Прихватив с соседнего кресла пиджак и на ходу его надевая, Топилин последовал за Антоном.

Шел в нескольких шагах позади, разглядывал бритую голову. Случалось – засматривался. Великолепный черепок: фактуристый, мясистый.

Пересекли серебристый зал с витражами, завернули за каменный выступ, на котором висела плазма размером с половину теннисного стола, и по узкому коридорчику прошли в небольшой кабинет с окнами на рощу. Вдоль опушки неспешно прогуливался человек в плаще. «Гуляет, – подумал про него Топилин. – Воздухом дышит».

Устроился на угловом диване перед журнальным столиком.

Антон предложил кофе, Топилин отказался. Антон, подумав, и сам не стал. Сел напротив, напустил на лоб морщин.

Настроение у Топилина портилось, приходило в соответствие с обстоятельствами. Гипнотический уют Литвиновского дома больше не действовал.

Все эти нелепые дни, последовавшие за нелепой гибелью нелепого человека, который разгуливал с фотоаппаратом в темноте посреди проезжей части, были тем нелепей и тем невыносимей, что Топилину перепала роль похоронного распорядителя. Антон попросил.

Он оплатил похороны по высшему разряду, лучший квартал на кладбище – правда, на отшибе, в самом дальнем краю, еще не обжитом покойниками. Подальше от прокуроров и бизнесменов. Дабы не умножать нелепость смерти нелепым кладбищенским соседством.

Предстать лично перед вдовой и родственниками Антон не решился. «Ты же понимаешь... Зачем людей травмировать?» Топилин понимал. Как понимал и хорошо помнил

другое: достатком своим, статусом второго лица в компании, кроющей плиткой тротуары в Любореченске, а также все дальше и дальше за его пределами, он всецело обязан Антону. На старом армейском приятеле и держится его нынешнее благополучие. Зыбкое весьма благополучие, дареное.

Хотелось отказать. Очень. И слова подходящие на языке вертелись: «Прости, не смогу. Найми лучше адвоката». Справился, сдержался.

Откажи он Антону – настал бы конец их дружескому партнерству. И не оттого, что Антон обидится. Может, он и не обиделся бы вовсе – если б удалось поговорить по душам. Но доверять ему перестанут. А утративший доверие выбывает из игры. В узком кругу здешних избранных, куда Топилин когда-то так счастливо втиснулся, доверие может быть только абсолютным. Оно не возобновляется завтра, если закончилось вчера, – как абонемент в бассейн.

Но отказать хотелось.

– Да, такие вот дела, Саша, – проговорил Антон, глядя в окно – быть может, на того же человека в плаще, прогуливающегося вдоль деревьев, которого только что рассматривал Топилин.

– Да.

– Спасибо, что помог с похоронами, – нахмурился, вспоминая имя. – Сергея... Царство ему небесное.

Нелегко дается Антону ситуация. Никак не поймет, как держаться, какое лицо делать, сидеть как, что говорить. Оно

и понятно. Не приспособлен Антон к тому, чтобы сокрушаться. Как обуздать эти мощные жесты? Чем одолеть избыточность, из-за которой чувствуешь себя с Антоном как в соседстве с крупным животным? Да и нужно ли? Ради чего?

«Козел, откуда ты взялся?!» – вспомнил Топилин.

– Исповедался вчера, – сказал Антон. – Два часа с батюшкой провел.

Топилин непроизвольно поискал взглядом икону – нашел на стене возле дальней полки. Они тут по всем комнатам, и везде разные, со смыслом. В детской один святой – детский заступник. На входе – другой. Кажется, отвечает за достаток... или от дурного глаза... Топилину объясняли, он никак не запомнит.

Человек в плаще, гуляющий на опушке, вскинул руки кверху, потянулся. Принялся делать зарядку. Как был, в плаще.

Нелепо все. Не нужно.

Странный тип с фотокамерой убился о только что купленную Топилиным машину, за рулем которой оказался Антон. Прокатился напоследок. Приспичило. Получалось, Антону перепала роль убийцы, предназначавшаяся на самом деле Топилину. Почему бы – получалось – Топилину из чувства благодарности не согласиться на роль похоронщика?

– Кофе хочешь?

– Нет, спасибо.

– А... я уже спрашивал.

С дебютом похоронного распорядителя Топилин справился. Было гаденько, но в целом сносно. Не смертельно. Вот только вдова не выходила у него из головы. Хотя не было для того никаких видимых причин. Все с ней прошло гладко. Но вспоминалась постоянно, по делу и без. Торчала черной занозой. Покалывала.

– Держи, – Антон положил на стол автостраховку. – Теперь все как надо.

Важная формальность: в момент наезда Антон мог управлять «Лексусом» только по доверенности – плюс страховка Топилина должна была распространяться на Антона Литвинова либо на неограниченное количество лиц. Доверенность успели накатать прямо на трассе, дожидаясь приезда гаишников. Антон взялся переоформить страховку задним числом. Мент звонил Топилину дважды, ворчал: его просили придержать дело, обещали представить правильную страховку, он все сделал – а страховки нет, а он не может больше тянуть, с него спросят.

– Отвезешь? – полувопросительно произнес Антон.

Фигура вежливости. Что мог ответить Топилин? Нет, вези сам? Страховка-то его. И следовательно, в общем, его ждет.

– Позвонишь следаку? – попросил Топилин. – А то задержал.

– Обязательно. Ты завтра планируешь, с утра?

– Он сказал: срочно.

– Часов в девять позвоню ему.

Помолчали еще немного.

– Машину я, само собой, отремонтирую. Но тебе, может, она уже не нужна такая?

– А ты можешь обратно забрать?

– Давай тогда так. Я отремонтирую, продам – и верну тебе всю сумму. Нормально?

– Отлично.

Во время похорон тщательно держал дистанцию. Старался не смешиваться с родней. Его тошнило от мысли, что кто-то из этих, натужно скорбящих, пустится с ним в рассуждения о превратностях жизни и смерти. Встанет рядом, кивнет, помолчит ради приличия. Потом наклонится поближе: «Вот ведь как вышло. Жить бы и жить. А оно вон как. Раз – и нет человека. Дааа, вон как оно...» С каждой фразой будет напирать, подступать глаза в глаза, заскоружеными пальцами трогать за руку, возбуждаясь от того, что может беспрепятственно говорить свои благопошлости. А вокруг стоят такие же, подперли плечами. Дожидаются своей очереди. И никак от них не улизнуть.

Прощание проходило в коммуналке. Топилин накануне похорон обговорил все с Анной подробно. Приехал к ней с листком, отвел в тамбур, в сторонку от покойника, от угрюмых черных матрон, высаженных ровной рядкой вдоль гроба. Зачитал по пунктам, во сколько автобусы придут, как поедут, где отпевание, где поминки. В день похорон примчался к дому на Нижнебульварном загодя, но внутрь не пошел.

Припарковал «Тигуан» на углу, встал возле машины. Ветер со вчерашнего дня поутих, но иногда наваливался, тормозил устало за лацкан. Крышкой гроба подперли одну створку двери, вторую придерживал забулдыга из местных. Стоял, как часовой на посту. Даже как будто приосанивался, когда кто-нибудь входил-выходил. Надеялся, что позовут с собой, на кладбище, а потом и за стол. Кажется, не позвали.

Родня покойного, съехавшаяся на похороны из полуживых шахтерских городков – одетая в китайское, сама на вид такая же фальшивая, казалась Топилину свежесобранной киношной массовой, не понимающей, как вести себя в кадре. Горе изображали неубедительно. Скорее, силились вспомнить, как оно должно выглядеть. Выглядело так: «Ехали. Далеко. Стоим, хороним». Бригадир землекопов руководил процессом: «Кто-нибудь из родных, близких скажет последнее слово? Нет? Отходим в сторонку. Опускаем. Прощаемся, бросаем по горсти земли. Нужно говорить: “Пусть земля будет пухом”. Цветы позже. Позже цветы, женщина!» Они делали, как велено, и, отойдя от могилы, облегченно закуривали, расправляли затекшие члены.

Эта равноудаленность от обоих полюсов: толком грамоте не обучены, десятка книг не прочитали – так еще и свое позабыли, исконно-посконное, все эти ритуалы темные, пахнущие сквозняком из земляной глубины, – эта никчемная *равноудаленность* в так называемом простом народе всегда раздражала Топилина. Но в этот раз как-то особенно.

Неприятно взволновал шепот, подслушанный, когда возлагал венок от имени Антона с надписью на ленте «Прости и покойся с миром».

– Прости, вишь? Прости. Это от кого? Че, *сам* явился?

– С них станется.

Даже несмотря на то что его приняли в какой-то момент за Антона, все прошло тихо-мирно. Он-то готовился к ненавидящим взглядам. Старательно прятал до поры до времени ленты на венке. Не исключал и опасности рукоприкладства. Прихватил на этот случай травматический пистолет «Стример». Зря мандражировал. Даже не заговорил никто. Пялились, конечно, но и только.

Сын покойного Влад, мрачный шестнадцатилетний подросток, которого Топилин поначалу опасался больше остальных, простоял столбом. То буравил глазами землю, то облака рассматривал. Топилину показалось: парень с матерью не в ладах. Ни разу не заговорил с ней, она ни разу его не коснулась.

Бывшие коллеги покойного – в темных добротных костюмах, в перепачканных остроносых ботиночках – выглядели еще несуразней пролетарской родни. Один все стапывал с подошв клейкий любореченский суглинок.

Когда Топилин собрался уходить с кладбища, тесть покойного схватил его за руку, испуганно уточнил: «А поминки?» – и Топилин указал ему на водителя кладбищенского автобуса: «Вон, он отвезет. Не волнуйтесь. Все будет в луч-

шем виде».

С Анной, вдовой, простился издали, коротким кивком. Она кивнула в ответ.

Что-то выталкивало ее из общей похоронной массы. Эта ее сдержанность, наверное. Нету в ней безутешного горя. И напускным не прикрывается.

Технолог пищевой промышленности. Топилин, когда узнал, сразу подумал: на хлебопекарне. И не угадал. Консервный заводик «Марфа» – овощные закуски и соки. Собственность страховой группы «Мир». Наверное, возится целыми днями с пробирками: «Кто-кто в нашем лечо живет?» Заходит в белом халате в цех. Наполнитель, загуститель, консервант. Ароматизатор, идентичный натуральному.

Оглянувшись мимоходом на повороте кладбищенской аллеи, Топилин подумал с грустью: «Не похороны, порнография какая-то...»

К религии мама относилась прохладно, к себе и к людям – с максимализмом фанатика. Такое раздвоение не могло не рвануть.

Если бы церкви в эсэсэре было дозволено, как сейчас, успокаивать и вдохновлять – Зинаиды в нашей жизни могло и не случиться. Горячее, максималистское отношение к жизни, скорей всего, направило бы маму в храм. Где ее нравственную лихорадку уврачевал бы какой-нибудь здравомыслящий батюшка. Собственно, не в этом ли состоит одна из важнейших функций церкви – приводить нравственный пыл к общему знаменателю: не в меру страстных охлаждать компромиссом, чересчур безучастных разогревать проповедью. Но в Стране Советов церкви была отведена роль полулегального швейцара, встречающего людей на входе, провожающего на выходе. Это был не мамин уровень.

Ее религиозное чувство научилось обходиться без церковной пищи. Своим катехизисом она сделала русскую литературу, где без труда отыскала все необходимые фанатику компоненты: запредельность моральных требований, жизнеописания праведников, поэтику испепеляющего подвига. Самодельная мамина религиозность, не получившая смягчающей церковной огранки, была смертельным оружием... Но откуда мне было знать? Вначале было счастье: мама, папа,

я. Потом мама пожалела Зинаиду, случайную папину любовницу.

Попробую по порядку.

До Зинаиды было много чего. Куда больше, чем после.

Сколько помню себя ребенком, во мне всегда жило ощущение, что меня готовят к чему-то небывалому. Как готовят спортсменов или солдат. Или наследных принцев. То есть родители не говорили мне: тебе надлежит стремиться, ты должен добиться, ты обязан стать... смотри, сынок, не подкачай, мы на тебя рассчитываем... Я так и не успел понять, кем они хотели меня увидеть во взрослой жизни. Наверное, полагали, что достаточно плыть по этой реке, чтобы приплыть в правильное место.

До моего рождения мама преподавала литературу в школе. После устроилась на должность библиотекаря – чтобы, освободившись от продленок и проверок домашних заданий, сосредоточиться на моем воспитании.

Отец в моей жизни всегда был как бы на десерт, как будто проездом. Папа работал в лор-отделении Первой городской, а свободное от работы время почти без остатка отдавал театру самодеятельности ДК «Кирпичник» – «Кирпичику», как называли его в городе. Папа значился здесь вторым режиссером, но все вокруг знали, что именно он подбирает репертуар и ставит спектакли: старенький Шумейко, заслу-

женный партиец и лирический графоман, нужен лишь для прикрытия. В обеих своих ипостасях – врача и режиссера – отец трудился много (хотя и с разным запалом). За что и расплачивался глубокой, «потусторонней», по выражению мамы, усталостью. Об отцовской любви я главным образом догадывался: по ласковой медлительности ладони, коснувшейся моего плеча, по тому, как вдруг обмякнет его голос, когда он попросит: «Посиди со мной». Я садился, отец спрашивал, что у меня нового. Я принимался рассказывать: про школу, про Кроляндию – страну ученых кроликов, которую мы с мамой придумали совершенно случайно, пройдя мимо чучела в витрине охотничьего магазина. Отец частенько задремывал под мои рассказы, улыбаясь и поддакивая сквозь сон.

Отец был – праздник. Кипучее закулисье «Кирпичика» было полно подарков: черное чугунное колесо с деревянной ручкой, тянувшее канат, раздвигавший занавес; лепящие зеркалами гримерки; разноголосые скрипы, обитавшие в досках коридора, ведущего к сцене... я помню каждый... только по-настоящему свой, посвященный, мог во время спектакля пробраться по коридору, безошибочно наступая на «немые» доски; реквизитор баба Женя, ковыляющая с охапкой парчи и рубищ; и неприметная общага через дорогу от театра, обитатели которой постоянно обсуждали чьи-нибудь чувства: свои, своих друзей, персонажей... Каждому из отцовского окружения, кто в силу собственного обая-

ния – или обаяния обстоятельств – западал в мою прожорливую детскую душу, находилось место и в грядущем мире, где мне уготована была судьба таинственная, но неизбежно яркая. Я запросто переселял туда любого. Формовщика Степана Петровича, бессменно игравшего роль отца Гамлета, отправлял лет на десять вперед, встречать меня в рядах восторженных поклонников в Любореченском аэропорту, куда я возвращался после триумфальной выставки в Париже. Зеленоглазая и огненно рыжая красавица Полина Лопухова – в «Кирпичике» Джульетта, в реальной жизни продавщица бакалеи, которая росчерком моей фантазии вдруг назначалась художником в театр кукол, консультировалась со мной относительно цветовой гаммы будущего спектакля. Баба Женья почетной гостьей восседала на моих встречах со зрителем – это если я решал стать кинорежиссером. Ну и так далее. Мечталось мне раздольно.

Со временем я заметил, что всеисилие моего воображения не распространяется на прошлое. Только на будущее. Только вперед катился волшебный клубок. Я, например, никак не мог представить себе родителей (точнее, на тот момент будущих родителей) подростками. В детдоме, где они выросли.

Оба они были из отказников. Секрета из этого не делали, но и говорить об этом не любили.

Папа утверждал, что ФИО – так и говорил, как будто с подковыркой – достались им от мамаш-дезертирш. Мама утверждала, что в Доме малютки всем кукушкиным детям

давали новые имена и фамилии, которые выбирали из толстой амбарной тетради, хранившейся в директорском сейфе. И тетрадный список подходил к концу каждые три-четыре года: примерно с таким интервалом фамилии у детдомовских начинали повторяться.

Родительских рассказов о детстве, о друзьях или воспитателях я не помню ни одного. Друзей из той жизни у них не сохранилось. Друг к дружке приклеились с пятнадцати лет, поженились, едва исполнилось восемнадцать, накануне выпуска из детдома. Жилье получили в наследство от постороннего человека. Когда Марина с Гришей выпускались, одинокая и больная диабетом старушка, работавшая в детдоме уборщицей, выходила на пенсию и предложила им досмотреть ее в обмен на дом – не тот, в котором мы жили, другой. Наследство родители продали сразу после смерти Ольги Петровны. Ее пожелтевшая девичья фотография в толстой ореховой рамке стояла возле телевизора, подпертая антикварным бронзовым ежиком, и была единственной доступной мне лазейкой в родительское прошлое. Лазейка эта, однако, вела в тупик. Немногое можно было разглядеть в вытаращенных и поблекших глазах Оли (будущей Ольги Петровны), и уж точно не видны там были Марина с Гришей. На могилу к ней мы ездили редко: согласно воле усопшей, похоронили ее в родных Пятихатках – а это пятьдесят километров от Любо-реченска, автобус в восемь сорок от пригородного по нечетным числам.

Временами я пытался слепить картинку из того, что знал о них: лучшие ученики, их ставят всем в пример, они влюблены друг в друга, а вокруг — детдом: ожесточенные сироты... воспитатели... манка и макароны... Ничего не выходило. Картинка не складывалась — не получалось дорисовать моим родителям прошлое. Папа с мамой появлялись из ниоткуда. Выскакивали из него на ходу, как из пустого трамвая, развернувшегося на конечной остановке, и улыбались мне: «Привет!» Сказать по правде, я не огорчился. И с расспросами не лез. Пустота за спинами родителей меня очень даже устраивала. На этом фоне все смотрелось еще изысканней. К тому же я был свободен от общества бабушек-дедушек, с которым вынуждены были мириться большинство моих сверстников: неприятные старые люди, с обвислой кожей, со страшными пальцами и запахами, назойливо повторявшие пять-шесть банальностей, которые, казалось, заучивали когда-то хором, — вместо всего этого я получил безобидную фотографию давно умершей девушки Оли.

Как тут не влюбиться в свое будущее, которое не могло же быть «как у всех», когда снаружи и внутри — столько особенного... И я любил его преданно, заранее прощая мелкие огрехи.

Чувство взросления: «Ой, уже началось!» — пробудил во мне отец. Случайно. Он вообще никогда не предпринимал в отношении меня никаких специальных усилий — просто позволял быть рядом, иногда говорил со мной, иногда интере-

совался моим мнением.

Мне было лет двенадцать-тринадцать. Он взял меня с собой в «Кирпичик». Папа только что поставил «Чайку» – впервые поставил Чехова и был ослепительно счастлив.

В тот год он часто брал меня с собой в театр в дни представлений.

Мы приходили задолго до начала, отец расспрашивал у дежурного, кто из актеров на месте, и мы отправлялись на сцену осматривать декорации. Он взбегал по лестницам и мосткам, садился на скамейки, шумно хлопал дверьми. Со сцены – снова к дежурному, уточнить список пришедших и начать волноваться: опоздают ли те, кого еще нет, или явятся с минуты на минуту. В буфете мы съедали бутерброды с икрой минтая, отложенные специально для нас. Чай нам подавали в граненых стаканах с подстаканником – как в поезде. Отец при этом поглядывал на настенные часы. Чем ближе к началу представления, тем жарче раскалялся «Кирпичик». Иногда приключались скандалы, и кто-то бежал, оглушительно грохоча каблуками, и кричал, что не может работать в такой обстановке. Отец срывался на звук – и позже я находил его в компании хнычущей царицы, которой он обещал все уладить завтра же, или прогуливающимся под руку с угрюмым стражником, с картонной алебардой на плече. Иногда закулисы переполнялось беспечным оживлением, в гримерках раздавался смех, и отца приглашали «продезинфицировать инструмент». Папа неизменно отказывал-

ся — но они всё зазывали его и доказывали, что без дезинфекции нельзя не только в больнице, но и в театре. Когда все актеры были на месте и их брала в оборот баба Женя, мы с отцом перебирались за кулисы. Здесь он неизменно напоминал: «Только тихо». Впрочем, я и без того был тише воды и замороженно наблюдал, как папа управляет этой капризной машиной, выводя ее в единственно допустимую точку, в которой *его* актеры встретятся с *его* зрителями...

Мы стоим в правой кулисе, возле столика с горящей настольной лампой. Зал уже гудит, скоро начнется. Гарик Маркин, актер, играющий Сорина, хлопает себя по лбу.

— Что? — оборачиваясь, отрывисто роняет отец.

Будто выстреливает Маркину под ноги.

— Да трость забыл, Григорий Дмитриевич. На ту сторону заходил, к Лизе, на сундуке оставил.

Маркин собирается идти за тростью, отец его останавливает.

— Не возвращайся, ты что!

Поворачивается ко мне.

— Сходишь, сынок?

Все во мне сжимается. Мне страшно. Отзвучал третий звонок. А если я не найду? А если его трость кто-то унес? Маркин смотрит недоверчиво.

— Сходи, ты знаешь, — говорит папа спокойно, будто мы с ним дома и он просит подать ему карандаш со стола.

И я послушно отправляюсь в противоположную кулису за

тростью.

Узкий темный проход между стеной и фанерной перегородкой, за которой – воспаленная тишина сцены. И вот уже пощелкивают, разгораются аплодисменты. С перепуга я готов припустить бегом, но тут вспоминаю, что выход Сорина – не в самом начале. Аплодисменты стихают, две тишины соприкасаются. Кто-то пробегает за перегородкой мимо меня, страшным шепотом командуя: «Давай!» Вдоль тонкой фанеры, равномерно обитой рейками, я дохожу до левой кулисы. Чьи-то пышные юбки, букли, порхнувшая на вешалку шаль. На блестящем горбатом сундуке трость. Хватаю трость, иду назад. За перегородкой только что начался спектакль.

– Отчего вы всегда ходите в черном?

– Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Возвращаюсь, отдаю трость Маркину. Отец стоит тяжелый, окаменевший.

– Принес, пап, – шепчу я, становясь чуть поодаль.

– Ммм, – отзывается он, не оборачиваясь.

Никаких тебе «молодец» или «умница». Подумаешь, за тростью ходил. Я смотрю вместе с ним на сцену и отчаянно стараюсь сохранять невозмутимый вид. Хотя кто меня может здесь разглядеть?

Охотничий клуб назывался «Логово». Открывал его некто Долгушин, человек пришлый, из какого-то небольшого северного города. Говорили, у него серьезные связи в администрации. Какие именно, Топилин не знал. Антон не рассказывал. Но ожидалось присутствие губернатора.

Приглашение прислали задолго до ДТП, и Антон предложил визит не отменять. Прощупать между делом обстановку, выяснить, как широко слухи расползлись. Возле губера отметить. Самое время. Топилин рассудил, что охота на уток поможет ему развеяться. И они отправились в «Логово».

Выраженный в тирольский костюм Долгушин в окружении двух грудастых фройлен встречал гостей на входе. Очень старался выглядеть простоватым и бесшабашно веселым. Метался от одного к другому, командовал: «Пива гостю!» Сбитый и округлый, в клетчатых бриджах и жилете, он напоминал шутовскую лимонку, влетевшую в толпу прохожих. Тирольское радушие давалось ему непросто. То и дело озирался, проверяя реакцию. Любореченцы реагировали кисло. Долгушин, очевидно, иначе представлял себе южан.

– Проходите, угощайтесь, господа! Ешьте-пейте, но рекомендую не забывать и о предстоящей охоте. Для этого и собрались. Подъем в полпятого, и это не шутка! Выдвигаемся строго в пять. Опоздавших не ждем, раненых не бросаем.

Охота намечается – пальчики оближешь. Утки толстенные, сам видел.

Антон с Топилиным хозяин приветствовал несколько напряженно. Заметно было – силился вспомнить, кто такие. А ведь знакомил их сам Литвинов-старший. Не слишком хваток северянин. Не удосужился разобраться, кто есть кто в его новой среде обитания.

– Пойдем, Саша, вольемся.

Влиться, однако, не получилось. Компания была случайная, много незнакомых. Среди знакомых большинство из категории «привет-пока». Как только пристроились к столу возле каменных кабанов, восседающих по обе стороны крыльца, так сразу и замелькали вокруг нехорошие взгляды. Подходили, здоровались. Но разговоров не затевали. Был момент, когда группа гостей, расположившаяся на площадке перед трехэтажным корпусом «Логова», зыркнула на них синхронно.

– Знают, пидоры, – констатировал Антон, не опасаясь, что его услышат. – Повылупляли zenки свои. Вон тот, губастый, особенно любопытный.

Завелся, того и гляди пригласит губастого в сторонку.

Подошел его приятель Краловецкий, владелец «Любо-Лада», принялся участливо расспрашивать, похлопывать по плечу. Пошептавшись с ним, Антон немного успокоился. Даже помахал кому-то рукой.

Губернатор не приехал.

После приветственного бла-бла-бла Долгушин попросил гостей встать у него за спиной. Ему вынесли ружье, на край двора выкатили огромную бочку. Под удивленный вздох немногочисленных дам из бочки взмыла в воздух пятилитровая бутылка шампанского, Долгушин выстрелил, бутылка шлепнула пенистым плевком и рассыпалась по газонам. Собаки истошно залаяли.

– Добро пожаловать в «Логово»! – провозгласил Долгушин, перекрикивая собак. – Ни пуха нам ни пера!

Послышалось нестройное «к черту!», и в пропахшем близкими болотцами воздухе заструилась из развешенных повсюду динамиков легкая фортепьянная музыка. Гости пришли в движение, исследовали шведские столы. Кто-то переместился с тарелками внутрь дома, кто-то предпочел закусить на природе, некоторые отправились спать. Вечеринка напоминала кормежку в аэропортовском вип-зале во время затянувшейся задержки рейса.

Чьи-то собаки поцапались. Хозяева надели на них намордники и принялись делиться особенностями нрава своих питомцев:

– Мой с ума сходит, когда много народу.

– Мой ревнивец жуткий, к чужим псам не подходит.

После нескольких кружек пива Антон с недоброй улыбкой пустился курсировать от одной компании к другой. Везде перетягивал внимание на себя, шумно рассказывал какие-то истории. Топилин смотрел на Антона Литвинова и невольно

прислушивался к себе: что-то там происходило. Пока неразборчивое.

Прихватив блюдо с виноградом, устроился на широких качелях чуть в стороне от площадки, на которой перетапывалось-перешучивалось великосветское гуляние. Он был знаком со многими из присутствующих. Когда-то любил подержать в руке визитницу, нашпигованную важными именами – толстую, как обещанные на завтра утки. Каждой новой визитке подбирал подходящую ячейку, перетасовывал их, совершенствуя классификацию: чиновники, семьи, собратья-буржуи. Что ж, было... накрывало мелочным тщеславием с головой.

Ни с кем из них у Топилина не сложилось приятельских отношений. Удивлялся, как легко получается это у Антона. К концу фуршета, бывало, обнимается с новым знакомым, анекдот неприличный расскажет, пригласит в гости с чады и домочадцы. И все это вальяжно, с незапятнанным барством. Вот и сейчас – куда только подевались косые взгляды, мелькавшие буквально час назад? Улыбаются широко, смеются громко.

Антон всюду представлял Топилина как своего друга – старинного, армейского. На одну-две встречи хватало. Но стоило знакомству хоть сколь-нибудь затянуться, все скатывалось к привычному результату, и Топилина передвигали в дальний уголок с пометкой «человек Литвинова».

– А, какие люди!

Как бы ни довелось стоять, руку пожмут сначала Антону, потом ему – с остаточной улыбкой.

Когда-то Топилин надеялся сдружиться с Антоном по-настоящему. Не то чтобы рвался к этому, как спортсмен к медалям, – скорее, ждал. Армия, считал он, не в счет. Разве можно тамошние отношения – будь то дружба или вражда – рассматривать всерьез? Там, где никто не бывает самим собой, не смешно ли называть человека другом или, скажем, врагом? Но в нормальном мире, в котором они с некоторого времени виделись почти каждый день, зарабатывали общие деньги, вращались в одних кругах, – Топилин рассчитывал на душевное сближение. Так было бы нормально. Кому и дружить, как не им. И, в общем-то, внешне все так и было: всюду зван, Маше крестный отец. Но не дружится им по-настоящему.

Ночевали в деревянном коттедже на четверых. С двухъярусными кроватями. К Антону с Топилиным подселили краснолицых большеруких фермеров. Фермеры пугливо познакомились, попытались нащупать общую тему. Разговор не клеился. Предложение раскинуться в картишки тоже не нашло у городских отклика. Первым лег Топилин, взобравшись на верхнюю койку, Антон последовал его примеру. Фермеры посидели в задумчивости на оставленных им нижних местах, заявили, что любят перед сном подышать, и канули в темноту за дверью, любезно выключив перед уходом

свет.

После их ухода навалилась тишина, пренебречь которой было невозможно. Живая загородная тишина. Лягушачий концерт вдалеке, сверчки, комары. Запах свежей древесины дурманил похлеще спиртного. И что со всем этим делать?

Антон выругался.

– Вилы сейчас домой ехать. К тому же выпили. А так бы плюнуть и свинтить отсюда. Ммм?

– Я о том же думаю, – признался Топилин. – Никакого настроения.

– В барак какой-то заселил.

– Не говори.

– Тоже мне, хрен в штанишках. Нужно будет разузнать подробней через Карповича, кто такой, какими ветрами.

– Проблемы какие-нибудь дома.

– Стопудово, Саш. Нужно людей порасспросить.

Перебив косточки Долгушину, они выдохлись. Топилин нашел пульт на подоконнике, включил сплит-систему, но от тишины, заселенной лягушками и сверчками, ее шелест не спасал. Встать бы, закрыть окно. Лень.

– Знаешь, вспомнил вдруг... – начал Антон и смолк.

Откашлялся как-то, показалось, осторожно. Будто боялся лягушек за окном распугать.

– Мне пятнадцать было. Это, значит, какой класс? Восьмой? Восьмой.

И снова замолчал, снова откашлялся. Приноравливал

хриплый басок свой к задушевной беседе.

– Меня батя в лагерь пионерский тогда отправил. В воспитательных целях. До того и не трогал никогда, не давил. Баловал, можно сказать... Ну, как... В меру. А тут взялся по полной. Раз мне сказал, другой. Ты, говорит, совсем без царя в голове. Растешь, а не взрослеешь. Таким бестолковой, говорит, многого не добьешься... Ну, я киваю, делаю умный вид... Типа, осознал. А сам уроки с одноклассниками прогуливаю, видик таскаю из дома по просьбам трудящихся, отцовское «Мальборо». Хотел быть всем в доску свой.

Чем дальше говорил Антон, тем больше мрачнел Топилин. Он уже понял, что Антон решил поделиться с ним чем-то сокровенным. Потянуло человека пооткровенничать в кои-то веки. Понятно: стресс, суматоха – а тут вдруг пауза, и обстановка располагает... Но именно этого – задушевных полночных бесед – хотелось Топилину меньше всего сейчас.

...Зубы сводило от его задушевности.

– Приносит путевку в пионерлагерь. «Спутник». Мама как глянула, за голову схватилась. Лагерь самый зачуханный. Даже не на море. Тут у нас, под Черемушками. Мама женщина мудрая. С отцом никогда не спорит. Но не удержалась. Может, говорит, поприличней что-нибудь? Ну, ясно, разговор короткий был... Что-то я, Саня, отвлекся. Не о том хотел. Не о том. В общем, привез он меня в лагерь. «Будь здоров, сынок. Жди через две недели. Постараюсь заехать». Помню, смотрю с крыльца, как его «Волга» уезжает... а за

спиной – ну, бараки натуральные. Бетонные. Плиты положены как попало. В щели можно подглядывать. И пацаны во круг – как на подбор. Те, кого я в нашей школе за хулиганов держал... гордился даже, что с ними знаком... рядом с этими просто паиньки, мамино счастье. Поглядывают так, знаешь, оце-е-енивают... Ясно, что будет тут нескучно... Что им мой батя любореченский ваще по фонарю. Тут у них свои темы. Смотрю, Санек, на машину... как она уезжает... а я вот остаюсь... аж не верится, что это со мной, на самом деле.

Топилин отчетливо представлял, какое лицо сейчас у Антона. Печальная полуулыбка, задумчивый взгляд. Наверняка ждет, что Санек поддержит разговор. Топилин поерзал, кашлянул несколько раз – сойдет за реплику.

– С пацанами, кстати, оказалось проще, чем думал... Но я опять не туда. Все не расскажу никак. Короче, в первую ночь уснуть не мог. Провалился не знаю сколько. В стекло мош-кара стучит, под полом мыши. Еще травой скошенной пахло. Сильно. Утром скосили под окнами... И лягушки на берегу – вот так же, как сейчас, я почему и вспомнил... Встал, выбрался потихоньку из палаты. Вышел на крыльцо. И вот стою, смотрю в сторону дороги, по которой батя уехал, а там темень сплошная, ни дороги не видно, ничего. Слегка только, верхушки деревьев. Тоскливо, одиноко... В первый раз ведь по-настоящему один. И где! Почувствовал себя маленьким. Можно сказать, ничтожным.

«Ладно, Антон, – мысленно перебивал его Топилин. – В

другой раз. Поздно уже, спать давай».

– В небе звезды... И трава прямо под ногами, дуреешь от запаха... И тоска, Саша, такая, что хоть умри... хочется умереть, лишь бы избавиться... Никогда такой тоски не было, как в ту ночь... Кое-как взял себя в руки, вернулся в палату.

Так и не дождавшись от Топилина никакого отклика – будто сам себе рассказывал, – Антон договорил почти смущенно:

– Вспомнилось что-то... Как будто вчера было.

«И что мне теперь, зарыдать растроганно? – думал тем временем Топилин с неожиданным ожесточением. – Пожалеть тебя? Утешить?!»

Антон пробубнил что-то себе под нос и больше разговора не затевал. То ли вправду уснул, то ли притворился, как Топилин.

Где-то по соседству раздался стук двери, стремительный топот.

Топилин угрюмо присматривался к идее собраться и уехать. Сказаться больным. Прости, Антон. Съел что-то не то на фуршете. Пиво с шампанским смешал. Всего бокал, кто же знал, что оно так аукнется...

В какой-то момент он разглядел наконец поганое словечко, все это время мелькавшее в потоке других, услышанных и произнесенных за день. Прихватил, попробовал на язык – проговорил беззвучно, не раскрывая рта: «Убийца». Горло по-лягушачьи пульсировало. «Да не виноват он, – в кото-

рый раз напомнил себе Топилин. – Не виноват ведь». Словечко цепкое, просто так не выплюнешь. Антон убил человека. Случайно. Антон – с которым сто лет в обед... случайно, конечно. Случайно.

Лягушки орут из темноты. Фермеры дышат воздухом. И утки спят где-то неподалеку, завтрашние клювастые трупки.

Фермеры ввалились за полночь, оглушительно сопя и щедро разбавляя древесный аромат водочным перегаром. Легли, не раздеваясь. Четко, как инструмент в футляр. Топилин ждал, что будут храпеть. Не храпели.

С самого начала ее сдержанность не давала Топилину покоя. Из-за этой сдержанности рядом с ней было трудно. Как в инородной среде. Обыденные вещи давались с усилием.

Их первая встреча состоялась перед моргом, куда она приходила на опознание. Топилину перед этим позвонил безымянный мент – не представился, сказал только: просили передать, опознание Сергея Митрохина пройдет сегодня в БСМП-2 в два тридцать. Из-за пробок опоздал на десять минут. Нервничал, боялся разминуться. Было солнечно и ветрено. Кружили песочные вихри. За ограду выходила женщина. Шла плечом вперед, отвернув от ветра лицо. Одной рукой прижимала к голове платок... еще не тот, из траурного ситца, еще цветастый шелковый; другая рука прижимала к груди, защищала от ветра свернутый в трубочку бумажный

лист. Топилин Анну до этого в глаза не видел, да и вдову *назавтра после трагического известия* представлял себе совершенно иначе – на ватных ногах, с трясущимися руками, со всех сторон поддерживаемую родственниками. Эта шла сама, не спотыкалась.

– Анна Николаевна?

Остановилась, встала спиной к ветру.

– Да.

– Примите мои соболезнования... искренне...

– Кто вы?

– Собственно, свидетель происшествия. Александр Топилин. Я в машине сидел... под которую ваш супруг попал...

Разглядывала его сквозь прищур, ждала продолжения.

– Поверьте, все случилось совершенно случайно. Скорость не была превышена. Водитель был трезв.

Лопотал с приторной скорбью. Ветер мешал говорить. На зубах уже всюду похрустывал песок. Хоть отплевайся. Вдова перебила:

– Вам что-то от меня нужно?

– Мне... нет... То есть в некотором смысле. Позвольте помочь вам с похоронами.

Она обернулась в сторону морга. Будто поинтересоваться мнением того, кто там остался. Из дверей вышел мент и, прикуривая на ходу, отправился в сторону больничных корпусов.

– Не отказывайте, Анна Николаевна... такое дело...

Топилину показалось, что она заплакала. Присмотрелся – нет, стоит как стояла, шурится. И? Дальше-то что?

– Не отказывайте... правда... Я, собственно, от имени... водителя, который в тот трагический вечер... в общем, который совершил наезд на вашего мужа... Совершенно случайно, поверьте. Трагическое стечение обстоятельств... Антон. Антон Литвинов... Может, слышали... В общем, Анна Николаевна, Антон очень, очень переживает. Он хороший человек, семьянин...

Все ждал, что она хоть как-то ему подыграет. Напустит скорби. Разрыдается. Другая бы развернулась вовсю. Закатила бы истерику. Возможно, с проклятиями. Все-таки одна-одинешенька выходит из морга.

Анна слушала молча, несколько раз кивнула. Топилин напоминал себе рекламного мальчика, приставшего к тетеньке с рассказом о чудесных скидках и бонусах: то, что он строит заученной скороговоркой, ей совершенно не интересно, но она никуда не спешит, и мальчика жалко, пусть.

– Там поворот. Фонари не горят. А он переходил.

– Помочь... – произнесла Анна, как припозднившееся эхо. – Да, наверное. Сын приедет только завтра вечером. У него игра.

– Вот и правильно. Мы можем прямо сейчас на кладбище и...

Перебила:

– Вы не могли бы сначала отвезти меня туда, где это слу-

чилось?

И он отвез ее на объездную – туда, где это случилось.

Асфальт был помечен следами от шин. Четырьмя черными росчерками. Не ошибешься.

Топилин остановился, сказал:

– Видите, на самом повороте.

– Вижу.

Вышла сама. Пока Топилин обходил машину, успела пройти несколько шагов по обочине. Наклонилась, подняла кусок щебня.

Анна что-то сказала, Топилин не расслышал из-за ветра и шума машин. Подошел, чувствуя, как покидает его мусорная суeta. Суматошные слова больше не толкались в глотке. Можно и помолчать.

– С девятнадцати лет я с ним, – повторила Анна, разглядывая щебень у себя на ладони. – Семнадцать лет прожили. Правда, последний год... полтора даже... не в счет, наверное... Сережа на даче жил. Там дача у нас, – она указала рукой на цепочку крыш далеко за Южными Дачами, где жили Топилин с Литвиновым. – Он, наверное, туда и шел. Или с дачи. Фотографировал много. Любил фотографировать.

Налетел ветер, расшвыривая степную пыль, и Топилин непроизвольно шагнул ближе, чтобы загородить.

– Цветы забыла, – сказала она, когда порыв ветра утих, все тем же ровным приглушенным голосом. – Цветы ведь принято.

– Можем еще раз приехать.

Подумала, сказала:

– Нет. Не хочу два раза. Если только Влад решит со мной сюда приехать. Это сын. Но вряд ли.

Ветер все-таки сорвал платок с ее головы. Проводили его глазами. Клубясь и кувыркаясь, платок выпорхнул на поле, полежал, трепеща – будто переводя дыхание после побега, – и бросился дальше.

Волосы цвета соломы. Собраны в тугой хвост.

Мимо проносились машины. Анна все сжимала кусок щебня в кулаке.

– Затылком об острый край ударился. Так в морге сказали, – раскрыла ладонь широко, позволив щебню соскользнуть вниз, обратно на асфальт.

Потом посмотрела на Топилина в упор. Глаза по-прежнему сощурены от ветра, взгляда не различить. На лбу собрались морщины. Внезапно толкнуло к ней еще ближе, поймал ее за локоть.

– Уши надует. Спрячься, – сказал он, удивляясь собственным словам.

– Не надует.

Она ткнулась ему в плечо. Наверное, расплакалась. Было трудно понять на таком ветру.

Недавно прошел дождь, наследил по переулку лужами. Местами так густо, что приходится прыгать с островка на островок, кое-где хватаясь за соседские заборы. Мама на каблуках и старается не выпускать моей руки. Некоторым кусочкам суши она успевает дать имя:

– Швеция, только чуть располневшая. Видишь? Это Мадагаскар, смотри. О, ну это Италия.

На лавочке сидят соседки. Лузгают семечки. Просторно сплевывают шелуху.

Когда мы проходим мимо, кто-то из соседок – увы, почти все они остались для меня безымянными – громко окликает:

– Марина! Что ж не присядешь никогда? Все как не своя.

Мама собирается что-то ответить, но пока разворачивается на раскисшем голенище Италии, кто-то другой добавляет негромко, но отчетливо:

– Так они ж особенные. Куда нам.

Развернувшись, мама идет по бордюру к лавочке.

– Здравствуйте, соседусшки, – говорит она, встав перед ними. – А мы вот с сыном домой идем. В планетарии были. Когда заходили, дождь только-только собирался. То ли пойдет, то ли нет. А когда вышли, он уже закончился. Мы его и не слышали. Быстро так пролился. Короткий, а вон какой обильный.

– Тут так лупило, весь на фиг мне чердак позаливало, – говорит та, что окликнула маму.

Остальные сидят молча, даже лужгать перестали.

Я стою в двух шагах от мамы. Неуютно, хочется домой. По каким-то мелочам: по взглядам, по интонациям – я догадываюсь, что у сегодняшней сцены есть неизвестная мне предыстория.

– Знаете, я люблю дожди, – продолжает тем временем мама. – Вы замечали, они ведь все разные. Каждый со своим характером. Каждый что-то свое расскажет. А этот, который мы пропустили, пересидели в планетарии, – от него такой осадок остался немножко грустный. Как будто друг в гости заходил, а тебя не застал.

Соседки молчат, переглядываются. Нехорошо молчат, зло. Мама размеренно похлопывает себя по колену – будто задает ритм своим мыслям. И заодно – набухающей душевной тишине. Они не любят маму, это понятно. Но пока она отсчитывает ритм, никто не произнесет ни слова.

– Приятно было посидеть, – мама прихлопывает коленку посильнее и поднимается. – Мы пойдем. Скоро муж со сменой вернется. А ужина нет.

Уходим. Сзади долетает раздраженное ворчание:

– И чё это было?

В ответ громко, со смешком:

– Говорю вам: особенные. А ты со свиным-то рылом...

Я не сразу понял, из-за чего со мной перестал дружить

мой одноклассник, давнишний мой товарищ Валера Кондра-
тьев по прозвищу Валет. Пока Валет не крикнул на перемене,
совершенно не к месту, выясняя с Кораблиновым, кто
кого первым толкнул:

– Что ты? Со свиным своим рылом?!

И я вспомнил, что тетка на лавке, окликнувшая маму, до-
водится Валету дальней родственницей. Что-то из разряда
троюродных. «Родня... дальняя... Дальняя родня», – повто-
рял я как заклинание.

– Мам, а что у тебя с соседями? – спросил я.

Мама покусывала согнутую фалангу, грустно глядя в про-
тивень с кремированным куриным филе.

– Вот почему так? – спросила мама у мясных угольков с
некоторым упреком и, не отрывая от них задумчивого взгля-
да: – Ой, да замучили. Столько лет одно и то же. Я, види-
те ли, гнушаюсь. Но скучно ведь с ними, тоска зеленая. Из
пустого в порожнее... Давно не лезли, кстати, – и снова, пе-
чально всматриваясь в противень: – Пересушила. Странно,
в прошлый раз было нормально.

Окончательное понимание того, что мы особенные и за
это придется платить, настигло меня после проделки Ко-
сти Дивного. Такая у него была фамилия, которую сам Ко-
стя немного стеснялся. Меня же фамилия Дивный привле-
кала своим сказочным благозвучием и полнейшим несоот-
ветствием Костиному содержанию. Был он двоечник и буян,
рос под присмотром крепко пьющей тетки и со мной, отлич-

ником и тихоней, водился из встречного интереса: я давал ему списывать домашние задания.

Он перевелся в нашу школу в шестом классе. Я только что дочитал «Республику ШКИД» и бредил стихией нерушимого товарищества и благородной бузы. Эта книга запала мне в сердце тем глубже, что ведь и мама с папой – так я думал – оттуда же, из буйной шкиды, просто потом остепенились. Стали такими, как сейчас. Тихонями. Может, поэтому и не рассказывают ничего про свое детство?

Дивный с его округлым лицом, с жесткими как щетина волосами, с насмешливым взглядом казался мне приятелем Цыгана и Янкеля. Первый мат с пояснением, первый подъем на школьный чердак, первая победа в драке, одержанная благодаря своевременному появлению Кости, – и кто его знает, сколько еще дивных некнижных открытий предстояло мне сделать, если бы наше приятельство продолжилось дольше. Увы, однажды Костя затопил школу, и все закончилось.

Учитель математики опаздывал, кабинет был закрыт. Остальные классы зашли на урок, 7 «Б» оставался без присмотра в коридоре. Костя вынул из пожарного щита возле туалета шланг, прикрутил его к крану, высунул в окно и крутанул вентиль. Облепивший окна 7 «Б» отсмеялся быстро: гигантская брезентовая змея, бешено извиваясь, мотая металлической башкой, залила фонтаном окна начальных классов, медпункта, учительской.

Математика была последним уроком, учитель так и не по-

явился, и когда вентиль был закручен, мы разбежались из школы по домам.

Расследованием занялся лично Полутог – наш неусыпно свирепый, внушавший страх даже старшеклассникам, директор Павел Иванович Полугин. Когда, вскинув седую курчавую бровь, Полутог нацеливался своим ледяным взглядом в лицо нарушителю порядка и говорил: «Так-так», – казалось, жуткий карающий феникс навис над несчастным и вот сейчас, потоковав для разминки, склюет его в несколько приемов. Большинство смутьянов сознавались сразу. Упрямец Полутог утаскивал в свой тихий и вечно зашторенный кабинет с потускневшим портретом вождей на стене: четыре профиля веером на фоне красного знамени.

Поскольку в момент происшествия в закутке возле пожарного щита, согласно расписанию, должен был находиться лишь 7 «Б», авторство проделки со шлангом было всем очевидно. К тому же Костя Дивный на следующий день пропустил школу. Но Полутог всегда добивался, чтобы виновника выдали свои во всеуслышание, – а в особо тяжких случаях еще и заклеямили на школьной линейке. Он явился к нам на последний урок и, пройдясь в гробовой тишине между парт, сказал:

– Так. Так.

Походил еще немного, добавил:

– И кто это сделал?

Обычно во второй раз он повторял свой вопрос с нажи-

мом, гуляя всевидящим оком по классу... Но в тот раз у Полугога был другой план.

– Кто это сделал? – спросил он шепотом, наклоняясь ко мне.

Я молчал. Но всё, на что рассчитывал, – подольше держать оборону. Хоть какой-то дать отпор. «Только не здесь», – думал я тоскливо. И уже перенесен был мысленно в кабинет с потемневшими вождями, с кубками и грамотами в филёнчатом шкафу, и с замирающим сердцем пытался представить, как именно это происходит, что он говорит при этом, как смотрит, как выгибает бровь.

– А у тебя ведь такие родители, – еще тише сказал директор и вздохнул тяжело. – Уж от кого другого, но от тебя не ожидал... Ты видел, что он сделал с кабинетами на первом этаже? Ты представляешь, как трудно это отремонтировать? Ты неприятно меня удивил, дружок... Хорошо, – сказал он громче, так, чтобы все слышали. – Подумай. Завтра перед началом уроков жду в своем кабинете.

Сердце то ныло, замерев, то металось как суслик, за которым скользит, приближаясь, беспощадная тень. «Зачем это? Почему я? Пусть бы как обычно. Я-то при чем?»

Выйдя со школы, раздавленный собственной трусостью, с которой не в силах был совладать, я отправился на работу к маме. Районная библиотека располагалась неподалеку. Мама приняла меня без лишних вопросов, поняв с первого взгляда, что случилось плохое. По темному проходу вдоль

стеллажей провела меня в тесную каморку, в которой чинили книги, усадила за наклонный верстак. Пахло столярным клеем. Книги с рваными ранами вдоль корешков были утыканы винтами, зажаты рейками. Стопка нарезанной на полоски марли дополняла ассоциацию с полевым госпиталем из фильма про войну. Я рассказал ей все, от разрушительного рейда пожарного шланга до тяжелого директорского вздоха.

– То есть потребовал, чтобы именно ты настучал?

И мы отправились в школу. На такси, чтобы не упустить Полугога. Он был на месте. Мама оставила меня под дверью его кабинета – думаю, прекрасно понимая, что я все услышу.

– Вы пытаетесь сделать из моего сына стукача, Павел Иванович?

– Марина Никитична, вы меня удивляете... Речь идет о хулиганстве, имевшем серьезные материальные последствия. Ваш сын был свидетелем. И он единственный в классе, кто поддерживает отношения с виновником происшествия. Я, в общем, полагал, что мальчик, воспитанный в интеллигентной семье...

– Лучшая кандидатура на роль доносчика?

– Да что вы так, в самом-то деле?

– Вы еще упомянули родителей: «а еще родители такие»... Что вы хотели этим сказать?

– Вы как-то неадекватно реагируете.

– Боюсь, вполне адекватно. Павел Иванович, мне не нравятся ваши энкавэдэшные забавы. И прошу впредь воздер-

живаться от вовлечения в них моего сына.

– Марина Никитична! – кричал Полугог. – Что вы себе позволяете?!

Дождавшись тишины, мама отчеканила:

– Надеюсь, на этом ваши попытки привить Саше любезные вашему сердцу навыки прекратятся, Павел Иванович.

И мы ушли, не оборачиваясь, а за нашими спинами хрипел и повизгивал поверженный феникс.

К тому времени, как Костя, подгоняемый трезвой плаксивой теткой, посетил директорскую, его успел сдать весь класс. Полугог вызывал их с урока биологии одного за другим, по алфавиту. Вызвал всех, кроме меня.

На собрании отряда Костя Дивный заявил, что устроить проделку со шлангом подбил его я.

Об этом я маме уже не рассказал.

Получать пятерки по большинству предметов с тех пор стало несколько сложнее. «Труды» пришлось пересдавать дважды: выпилить лобзиком фанерный грузовик так, чтобы он устроил трудовика, мне никак не удавалось.

Снилось, что блуждает по незнакомому захоластью и никак не может найти нужный адрес. Полпятого разбудил Долгушин.

– Дамы и господа! – раздался его голос из спрятанного под охотничьим натюрмортом динамика. – Приглашаю подкрепиться. Выступаем через полчаса.

И следом звук охотничьего рожка.

Охотники хмуро прездоровались у шведского стола. Сразу было понятно, кто сколько принял накануне. Позавтракали наскоро и отправились в хрупком предрассветном сумраке навстречу уткам, которым аккурат в это время положено перелетать с места ночевки на место кормежки. Впереди тащили надувные лодки те, кто подготовился к охоте основательно. Несколько возбужденных собак натягивали поводки, жадно нюхая все подряд: воздух, сапоги, лужи. Идущие спотыкались, налетали друг на друга. Приглушенные вскрики, шиканье Долгушина:

– Тише, господа, тиш-ше... Что вы как дети.

В камуфляже он смотрелся руководителем военно-исторического клуба. Вывел их на излучину, велел рассредоточиться.

Проваливаясь в вязкую жижу, матерно бубня себе под нос, Топилин и Антон обошли наконец камыш и выбрались на

песчаную отмель, в неверном свете зари казавшуюся такой близкой – рукой подать. Антон предложил знаком: останемся здесь, не пойдем дальше. Встали метрах в трех друг от друга, задрав головы на восток в ожидании дичи.

– Смотри, там ход мягкий, – напомнил Антон, снабдивший Топилина ружьем и амуницией.

Эlegantное «Голланд-Голланд» приятно волновало руку.

– И где обещанные утки? – поинтересовался Топилин для поддержания беседы.

Последние звезды белесо мерцали. Солнце выкарабкалось из леса почти целиком и повисло, кровоточивое, над испачканным горизонтом. Литвинов с Топилиным стояли молча, тупо уставившись перед собой осоловелыми глазами. Слева и сзади потрескивали сучья под ногами охотников, еще не выбравших себе места. Чья-то собака мечтательно погавкивала.

В сентябре девяносто восьмого на трассе, недалеко от поворота к заповеднику, попали с Антоном в переделку. Вернее, могли бы попасть. Антон отвел. История приключилась дурная. Шальных денег после дефолта было столько, что они перестали приносить радость. В «Любореченском торговом» у Антона были каналы – проворачивая в обменниках валюту мимо кассы, удалось за месяц умножить капиталы в семнадцать раз. Им было по двадцать три года. На хорошее жилье еще не хватало. Насчет загулов оба были сдержанны. Отпра-

вились в Краснодар покупать себе «Мерседесы».

В ста километрах от Любореченска у старенького «Опеля», который был куплен с тем, чтобы отдать его на месте хоть даром, сгорел вентилятор. Без охлаждения двигатель перегрелся, ехать дальше нельзя. Скатились на обочину. Вокруг поля подсолнечные. Солнышко, пташки. Пока решали, как быть дальше, возле них остановился «КамАЗ» – почти впритирочку, загородил «Опель» от проезжей части. В те времена люди посреди трассы просто так не останавливались. Уж точно не дальнбойщики: грабили их братки нещадно. Вышли двое. Лет по сорок. Вышли, встали – один возле водительского, другой чуть поодаль, сунув руки в карманы куртки. Тот, что подошел ближе, спросил сидевшего за рулем Топилина, как проехать в Синегорку. Топилин объяснил и добавил с ходу, что у них на самом деле проблемы – вентилятор – и, может, они им помогут, дотащат на «галстук» до ближайшего автосервиса, можно хоть в Синегорку... И тут заметил, что у того, который стоит в отдалении, один из карманов странно оттопырен. А потом разглядел и краешек пистолетной рукоятки. Косолапо он прятал пистолет. Волновался мужик очень. Колотило его. Ляжками держал так, что по брюкам рябь бежала, будто от ветра.

Разглядел пистолет и Антон. Не спеша взял с парприза массивную черную «мотороллу», набрал номер и, перегнувшись через Топилина, выглянул в водительское окно.

– Английскими буквами прочитать сможешь? – обратился

ся он к стоявшему возле «Опеля» человеку, который ничего уже не расспрашивал, а только всматривался гриппозными глазками туда, откуда только что приехал на своем «КамАЗе» и откуда стремительными разноголосыми волнами накатывал шум двигателей.

Испугаться Топилин не успел. Да и поверить в происходящее – тоже. Мужики из «КамАЗа» не могли быть вразумительными. Лица перепуганные – будто это их самих под прицелом держат. Не могли они вот так вот взять и по-настоящему их с Антоном убить. Из настоящего пистолета. Среди бела дня.

А в багажнике «Опеля», накрытые клетчатым пледом, – два тугих инкассаторских мешка. Не успели перед выездом обменять купюры на крупные.

– Бери, – сказал Антон настойчивей и протянул в окно «мотороллу». – Уже вызов пошел.

– Зачем это?

Человек из «КамАЗа» механически взял трубку.

– Не пойму, – сказал он сдавленным неживым голосом.

– Ребят, времени у нас с вами мало. Посмотри на экран, видишь, чье имя там написано? Хочешь, поговори с ним. Если есть о чем. Или дай мне ответить.

Тот, кто принял у Антона трубку, послушно опустил взгляд. Трубка пикнула, сказала:

– Да, Антон.

Помолчала, сказала еще:

– Антон, ты? Амиран слушает.

Имя главного любореченского вора вконец разволновало доморощенного налетчика. Он швырнул трубку на колени Топилину, пробормотал:

– Дорогу хотели спросить. Спасибо, мужики.

Через мгновение их не было. Запрыгнули в свой длинный пыльный грузовик, выхлопная труба рыгнула черным облачком.

– Что за хрень? – Топилин вернулся в реальность словно в комнату, в которой кто-то успел перевернуть все вверх дном за считанные секунды. – Это что было?

Антон поговорил коротко с Амираном, дескать, приста-вали тут на трассе какие-то левые, но уже отцепились... нет, номер не разглядел – грязью заляпан... да и хрен с ними, пусть поживут.

– Ну, лохи бешеные, – нажав на «отбой», хохотнул Антон. – Придурки. Пистолет где-то нарыли, давай гоп-стоп осваивать. На «КамАЗе». Нормально, а?! – он недоуменно задрал плечи. – Куда катится эта страна, Саша?

Пожалуй, самая эффектная история с его участием – если про девяностые вспоминать. Вообще рядом с Антоном Литвиновым людоедский большак девяностых как-то сам собой затихал, выпрямлялся, исполнялся халдейским радушием. Никакого рэкета. Никаких налоговых набегов. Никакого экстрима после эпизода на краснодарской трассе Топилин, в общем-то, и не припомнит. Дальше было скучно, как на офи-

циальной части банкета.

– Да где его утки? – зевнул Антон.

Топилин зевнул в ответ.

Река вяло обсасывала глинистую отмель, плескалась тихонько. Ни единого крика, ни хлопка крыльев не раздавалось в васильковой мути над ивами и камышами. Только потрескивали сучья да слышался сдавленный смех: охотники травили анекдоты. От реки тянуло холодком. Как из погреба.

Кинув под задницу сумку, Топилин сел, Антон вскоре последовал его примеру. Ружья вставили промеж колен, стволами друг от друга.

«Лето закончилось, – сказал себе Топилин. – Все. Короткое затишье – и осень. Сначала такая лапушка. Листья, вороны. Потом жуткая грымза: дожди, слякоть, машину мыть без толку. Потом зима».

– Лето закончилось, – сказал он.

– Мы с Оксаной на Сардинию собирались, – отозвался Антон.

– И что?

– Ну, что... Путевки переоформили вчера. Она с детьми съездит перед школой... А я не хочу. Настрой не тот.

– Понимаю тебя.

– Дерганый стал. Бессонница, опять же.

– Понимаю.

И снова замолчали.

Последние розовые отблески растаяли в небе и на воде. Уже просматривались вдоль кромки берега космы темно-зеленой тины. Плескалась на стремнине рыба. Издалека донеслось тарахтение моторной лодки. Стихло. Егерский вертолет пронесся в сторону северных угодий. Ожидание уток выглядело все более комично.

– Можно не ждать, – сказал Антон. – У них разгрузочный день сегодня.

«Просто нужно вычесть все то, что несовместимо с нормальной жизнью, – думал тем временем Топилин. – Нормальной жизнью, век за веком проживаемой нормальными людьми. Хорошими, но земными. Теми, кто умеет удобрить компромиссом каменистое наше бытие. Всё просто. Ты же помнишь, здесь всё исключительно просто. Сложности не приживаются здесь, тонкости сыплются в труху: враждебная среда, Саша, поганый климат».

– Да блин! – не выдержал кто-то в близлежащих кустах. – Где эти долбаные утки?!

Послышался короткий женский смех, сучья хрустнули под несколькими парами ног.

– Поздно уже для кормежки. Облом.

– Да вертолет ебучий распугал, что еще!

– Господа! Здесь же дамы!

На травянистой полянке, окруженной камышовыми зарослями, сошлись несколько охотников, загомонили – вместо уток. Решали, как быть. Ждать смысла нет. Не прилетят.

Нужно плыть, искать.

– Нужно пересчитаться! – скомандовал Долгушин. – Здесь лодок на всех не хватит. Придется из клуба тащить. Пересчитаться нужно.

Начали звать всех на поляну. Пересчитываться.

– Саша, у меня еще есть к тебе просьба небольшая, – сказал Антон, разворачиваясь бочком. – Можно?

– Конечно, – ответил Топилин, не ожидая ничего хорошего от этого угрюмого тона, от взгляда, устремленного ему за спину.

Топилин знал эту привычку Антона смотреть пристально мимо собеседника. Так и ждешь, скажет: «Вы что-то уронили». Вероятно, чтобы собеседник не мешал – своим ответным взглядом. Не сбивал с мысли. Сторонние люди поначалу озирались. Или пытались перехватить взгляд.

– Хочу загладить свою вину. Хоть и не виноват, – Антон развел руками. – Не виноват, да... Но тут такое дело... короче... Вдове его квартиру хочу подарить. У меня есть одна, стройвариант. Брал на продажу.

– Помню.

– Ну вот.

Топилин уже догадался, к чему клонит Антон. Старался просчитать, насколько обременительным окажется для него неожиданный довесок. Утомительно. Неприятное продолжение похоронной истории. Но большим осложнением, кажется, не грозит. Пойдет по накатанному: созвониться, встре-

титься, передать предложение. Да – да, нет – нет. Не уламывать же ее, в самом деле.

– Не могу никак себя заставить. В смысле, к его вдове сходить. Ну, не могу... – Антон откашлялся. – То есть я схожу, обязательно. Прощения попрошу. Обязательно. На девять дней, например. Но сейчас... Непонятно, как говорить, что, – опять развел руками. – Короче, мрак.

Антон поднял камешек, запустил в камыши.

– Ты другое дело. Интеллигент. Слова подберешь.

– Антон, только мне уговаривать ее...

– А не надо уговаривать, – Антон оживился, пристроил ружье на сгиб бедра. – Не надо. Если что, я уже сам тогда... Ты главное... подай все правильно... Убедительно, как ты умеешь. А уговаривать не надо. Нет, это не надо. Сделаешь?

– Сделаю... да.

– Спасибо, Саш. Выручаешь меня здорово.

Раздался близкий хруст валежника.

– А, вот вы где!

На отмель вышел Долгушин, остановился в отдалении, запрыгнув на ствол поваленного дерева.

– А мы вас потеряли. Мы тут собираемся плыть...

– Плывите, – оборвал его Антон, мотнув бритой головой. – Мы уезжаем.

Долгушин протянул к ним руки.

– Да что вы, господа! Всё только начинается!

Антон не настроен был затягивать беседу.

– Слушай, отвали. Сказали тебе, уезжаем. Срочное дело.

Долгушин постоял, растерянный. Молча ушел. Антон поднялся, пересел поближе к Топилину.

– И вот еще что... по ходу. Ну, просто одно за другое, знаешь... цепляется... Короче, нам бы дело это закрыть. Не доводить до суда. Попроси ее. За примирением сторон в нашем случае закрывается на раз-два. Я уже проконсультировался. Я стопроцентно невиновен, все говорят. Суда не боюсь, не о том речь. Но не хотелось бы до суда доводить, сам понимаешь... Мне-то ничего. А для отца это совсем нежелательно. Все-таки положение...

Антон стлал не то чтобы гладко, но довольно споро. Торопился: не помешал бы кто снова.

– Пока что обошлось без огласки. Но если в суд... Журналоги по-любому разнюхают, поднимут вой... Видел, как эти уроды рыскали, – Антон кивнул в сторону охотников, выстроившихся в нестройную шеренгу. – Оно и это, конечно, можно пережить – насчет огласки. Но, опять же, для бати это будет очень нехороший расклад... Понимаешь? Не сегодня завтра власть в области могут сменить, ходят слухи. Тогда начнется свистопляска, любое дерьмо потащат наружу. Зачем нам Карповича подставлять? Нужно все тихо уладить... И адвокатов, чужих людей в это вмешивать – на фига? Когда ты есть. Ты предложи ей, и все. Что ответит, так пусть и будет.

Хорошо, что не послушал Антона, поехал на своей. Пришлось бы всю обратную дорогу из «Логова» сидеть рядом, травиться тишиной – или разговор из себя давить.

Душно возле Антона. Нечем дышать.

Белый «Рендж Ровер Спорт» Литвинова-старшего, на котором после инцидента ездил Антон, маячил впереди. Топилин специально придерживал, хотел отстать. Трасса была загружена меньше обычного, ничто не мешало Антону оторваться. Но Антон не спешил давить на газ. Так и ехали гуськом в среднем ряду, обгоняя ржавые деревенские «ВАЗы». На спидометре слегка за сто. Сбавлять скорость дальше будет совсем уж демонстративно. Самому уйти в отрыв нереально: в «Рендж Ровере» пятьсот десять лошадей, попробуй от него отвяжись.

Позвонила Мила, милая дырочка Мила, с которой он спал по предварительному созвону.

– Алло, Саша.

– Да, Милочка.

– Ну, ты забыл?

Топилин забыл, но не признаваться же.

– Нет, конечно.

– Помнишь?

– А то.

– Так когда тебя ждать? Очень без денги плохо.

А! Точно! Обещал подкинуть денжат.

Всегда коверкает «деньги», когда их просит, ломает язык:

«Денги нет, денги сильно-сильно». В прошлый раз у Топилина не оказалось наличности. Обещал завезти и не завез. Все забывает оформить Миле пластиковую карточку, чтобы можно было перебрасывать со своей.

– Милочка, я сейчас в одно место по делам заскочу, и сразу к тебе.

– Сначала в банкомат!

Когда после смерти Шумейко папа не стал главным режиссером «Кирпичика» – на эту должность спустили сверху бывшего комсорга Суровегина, мама сказала, что если папу не назначили из-за того, что он не умеет угодничать, она гордится им еще больше. И ей не стыдно смотреть приличным людям в глаза.

– Остальное не наш уровень, – сказала мама, слегка наклонив голову – как бы напоминая папе: ты что, забыл?

Папа очень переживал.

Случилось это зимой, январь в том году был холодный. Отец приходил домой с мороза, здоровался, старательно избегая наших с мамой взглядов. Да мы и сами старались не попадаться ему на глаза. Мыл руки, отказывался от ужина и поднимался в мансарду. Вдыхая морозный запах, исходивший от отца, от его пальто и ондатровой шапки, я становился участником тяжелого отступления под началом отважного командира, выполнявшего свой долг, несмотря на ранение. Несколько вечеров отец пролежал пластом. Я нарисовал плакат, чтобы его взбодрить: «Папа, мы с тобой!». Но мама, поглядев скептически, сказал: «Пока не нужно. Рано».

Отец пришел в себя после первого же ночного дежурства: отиты, аденоиды и сломанные носы привели его в чувство. Вернувшись наутро – была суббота, слепившая снегом и сол-

нечным светом, — отец гаркнул с порога:

— Семья! Строиться на завтрак!

Мама принялась метаться по комнате, громко топая пятками — изображала переполох. Я вытащил из-за шкафа свой плакат, выскочил с ним в прихожую. Увидев его, папа улыбнулся:

— Вот и здорово. Пробьемся.

Притопала мама, бормоча себе под нос: «Ура-ура, наши в городе». Мы обнялись втроем.

— Конечно, пробьемся, дорогой. Иначе и быть не может.

Однажды пришло осознание приобщенности к некоему сообществу людей *нашего уровня*, перед которыми может быть стыдно или не стыдно, на которых только и следует равняться. Присмотревшись и поразмыслив, я уточнил, что, конечно, не все, кто у нас бывает и кого я встречаю в «Кирпичике», — не все они входят в это сообщество. Но круг наверняка широк — недаром же именно о *нашем уровне* вспомнила мама прежде всего, когда на семью навалилась проблема. И держалась так уверенно. Непринужденно даже.

Кто угодно мог оказаться «нашим». Сразу не угадаешь. Первым номером шла баба Женя. Она выучила по самоучителям французский и обычно раньше всех остальных добывала перепечатки запрещенных книг (за которые, как я уже знал, могли надолго посадить). С обаятельным стариковским пофигизмом баба Женя произносила: «хренов совок», «кремлевские пердуны» — и ходила в застиранных вьетнам-

ских кедах «Два мяча». Всюду, даже на гастрольи столичной оперы.

– Вчера комсомолец наш модернизированный ко мне приставал, – рассказывала баба Женя, комично изображая деревенские интонации, то упирая руки в боки, то прижимая к груди. – Афиши ему нужны. В кабинет себе повесить. У директора, конечно, Сыроветкин ничего не нашедши, какие там афиши! А к Григорию Дмитриевичу ему обращаться, конечно, как серпом... Решил старушку попытать. Ну, я возьми да скажи, по простоте-то душевной: «Принято собственными афишами кабинетики заклеивать. Чужими-то какой смысл?» И пошла. А он стоит, – баба Женя делала наивное лицо. – Эх, бабушка старенькая, бабушке все равно.

Зимние шашлыки в тот год были особенно многолюдны.

Мясо мариновалось в пластмассовом корыте, в котором я запросто уместился бы калачиком. Через загадочных «людей в порту» были добыты два ящика коньяка. Дом набился до треска – в буквальном смысле: шашлыки ели на веранде, принимая шампуры в открытое окно, и фанерная стенка потрескивала под напором спин и локтей. Пришли, кажется, все. Кочевавшая из рук в руки гитара не умолкала, из-за нее вспыхивали шутливые стычки. Одним хотелось петь дворовый шансон и Высоцкого, другим – Окуджаву и Вертинского.

Гитарные распри пресекала мама:

– Ребята, сейчас Пете гитару отдам.

Формовщик и поэт Петя Бородулин, недавно уличенный

в полнейшем отсутствии слуха, обводил собравшихся величавым взглядом палача, ожидающего королевской отмашки.

К мангалу, возле которого колдовал отец, подходил то один, то другой, порой туда вываливались целые компании – крикливые, с рюмками, с песнями, с криками: «Мяса и зрелищ!» Отец встречал их светлой улыбкой. Присматривая за углями, выслушивал хохмы, благодарственные тосты, семейные истории. Они подходили, уходили, приходили снова. Отец был немногословен. Он жарил шашлык – и посреди всеобщего разгула был погружен в уютное уединение, которое прерывал легко и возобновлял радостно.

Какой там Суровегин! Собака лает, караван идет.

Позже мама как-то обронила, что в тот безоблачный звонкий день в доме впервые появилась Зинаида. Я тогда совсем ее не запомнил. Да мыслимое ли дело – запомнить бесцветную молчунью в кипучей феерии подпивших, наперебой говорливых и певучих родительских гостей! Мой взгляд пролистывал ее, спеша к чему-нибудь поинтересней. Но она там была. Кто-то из «кирпичников» притащил ее, новенькую статистку, только что затесавшуюся в компанию, – стеснительную, готовую ждать и ждать, когда можно будет мелькнуть на сцене с графином воды, или с роковым письмом, или рухнуть вместе с другими под пулеметной очередью, в третьем ряду слева. Она там была, точно. Забившись в неудобный закуток, зажав рюмку коньяка, которую цедила весь день. Просилась выпустить ее в туалет. Возвращалась,

нашептывая извинения. Близоруко шурилась: не решалась надеть очки в малознакомой компании. Заигрывания штатных ловеласов наверняка вгоняли ее в краску, так что от нее очень скоро отстали, оставили в покое: сиди, деточка, грей свой коньяк. Устав сидеть на веранде, вышла во двор – бочком, предусмотрительно забирая подальше от какого-нибудь особенно разгоряченного гостя, размахивающего руками, расплескивающего на сугробы коньячную кровь. Скорей всего, устроилась за старой сливой. Спряталась от смеха и шампуров, проплывающих через двор в густом ароматном пару. Стояла себе с робкой улыбкой на пресном лице. На голове, наверное, вязаная шапка с длинными висячими ушами – я потом видел на ней такую. Голубая с салатным узором шапка: макушка круглая, к ушам приделаны веревки с кисточками.

– Бальмонт?! Бальмонт?! – кричал беспокойный во хмелю Каракозов так, будто пытался докричаться до самого Бальмонта, запримеченного на другом конце стола. – Вы называете мне Бальмонта?! Да вы шутите, дружище! Вы, знаете ли, пользуетесь моим нетрезвым, знаете ли, состоянием!

Оппонент его пытался возражать.

– Нет, ребята, это ж черт знает что такое! Бальмонт!

И Каракозов принимался читать своего любимого Гумилева:

– Когда, изнемогиши от муки, я больше ее не люблю...

А Зинаида смотрела на отца. На кого ей было смотреть?

Смотрела на него, на хозяина дома, на всеобщего любимца, на истинного хозяина знаменитого «Кирпичика», – с решимостью голодной мышки. Натаскала, что пришлось: как он говорит, молчит, смеется, как обмахивает угли газетой, как стряхивает чешуйки золы с рукава, как насаживает на шампуры мясо, как слушает тосты... Забилась в свою однокомнатную норку возле завода, на котором работала контролером в отделе качества, и принялась перебирать картинку за картинкой, слово за словом. Кто именно ее привел в театр, а потом и в наш дом, не известно. Такие, в общем-то, прибиваются сами. А что им остается? Пришла, встала в сторонке.

Повторение пройденного. Снова впереди Антон на «Рендж Ровере», Топилин держится чуть позади.

Пригласили к следователю, на дачу показаний. Никаких осложнений. Примирение примирением, объяснили Антону, миритесь на здоровье, но дело нужно оформить как положено, свидетелей опросить, если таковые найдутся.

Ехать будут мимо места происшествия, и Антон вознамерился возложить цветы. Вчера заметил, что на месте ДТП нет цветов. Плохо. Решил исправить. Как это обычно делается: привязать к ближайшему столбу или дереву букет с траурной лентой.

Топилин ненавидел эти букеты. Скорбно-статистические метки: вот здесь еще одного... Бывает, доедешь из одного района Любореченска в другой – встретишь три-четыре букета. Особенно отвратно смотрятся они спустя несколько дней после появления: измочаленные, грязные – мусор, прибитый ветром.

Развернутся на разрыве разделительной, подъедут к месту ДТП. Куда там привязывать? Ах да, столбики. Полосатые. К такому столбику туфель его отлетел... Прикрутят, ленточкой обвяжут. «Придержи. Вот так. Покрепче. Оберни. Вот так. Обмотай. Хорошо». Пойдут, насупившись. Помолчат. Потом, видимо, Антон перекрестится... «Царство небесное»...

Заметив впереди заправку, Топилин схватил телефон, позвонил Антону.

– Заправиться забыл. Ты меня не жди, езжай. А то не успеешь.

– Давай подожду. Пять минут делов.

– Да не надо. Там, видишь, очередь. Что ты будешь...

Не успеешь в ментовку. Пока *туда* еще заедешь...

– Так пять минут!

– У меня еще правое колесо спустило. Нужно подкачать.

В последнее время что-то подтравливает.

– Ну, смотри.

– К следователю все равно по отдельности. Ты предупреди его.

– Звони, чуть что.

Проехав заправку насквозь, Топилин долго стоял на выезде, глядя на проносящиеся мимо машины.

Перед самым Любореченском позвонил Антон.

– Ты где?

– Подъезжаю. Бензовоз там сливался. Пришлось ждать.

– А я тут следователя жду. Он приходил, но убежал сразу.

Сказал, что сегодня только со мной успеет.

– Так мне не надо приезжать?

– Нет. Он тебя завтра ждет. В это же время.

– Хорошо.

– Вообще, знаешь, можно заранее все написать. Как все было. Тут «шапку» впишешь. Чтобы быстрее. Я вот сижу,

кропаю. Знал бы, дома все сделал бы, в спокойной обстановке.

– Понял. Учту.

– Слушай, я не знаю, когда вырвусь. А мне эти кровососы из лица звонят. Я совсем про них забыл. Вчера еще звонили. Я им что-то там обещал сделать. Ну, на прилегающей. Они ждут. Заедешь?

Почему бы не заехать. Принял вправо, к объездной, чтобы не тащиться по пробкам через весь город: к лицу, в котором учились Антоновы дети, удобней добираться по окраине. Так уж сложилось, что самый престижный лицей Любоборченска располагался далеко не в центре. И если бы еще за городом, на манер кантри-клуба... Обосновавшийся в здании закрытого лет десять назад детсада, «Экстримум» был втиснут между старых панельных девятиэтажек одного из отдаленных городских районов, Красноармейского, знаменитого своей неистребимой гопотой, в последнее время сплотившейся вокруг местного футбола.

Весь Любоборченск выглядел так, будто однажды был сметен потопом и перемешан: новые дома – статные симпатяги – жались к дохлым хрущобам, гостиницы класса «номера от часа» соседствовали с бутиками, на дверях которых отсутствовали ручки: длинноногая богиня, дежурящая возле двери, откроет ее, лишь только на крыльцо ступит человек, достойный войти... Парковки вползали во дворы, гипермаркеты отгораживались заборами от институтских общаг. И все

это складывалось в неудобную клочковатую среду, жизнь в которой напоминала детские «классики», растянувшиеся на года и километры: прыжок, разворот, левая нога, правая нога, прыжок, разворот, левая, правая.

В лицее стояла гулкая тишина. Где-то в глубине надсаживалась дрель.

На втором этаже – фотографии лучших учеников. Остановился, отыскал глазами сначала Вову, потом Машу.

Наталья Ильинична, оплывшая женщина лет пятидесяти, с обилием золота на пальцах, приняла его с таким многословным восторгом, что Топилин перепугался: если не поторопить – застрянет надолго. Разводить тары-бары с ней не хотелось.

– Не могли бы мы сразу к делу?

Наталья Ильинична вскочила и повела его во двор.

– Вот, – сказала она, широким жестом обведя спортплощадку. – Спортплощадка. Та самая.

– Что с ней?

– Так Антон Степанович с вами не поделился?

– В общих чертах.

– Вот ее, родимую, и нужно заделать. Замостить. Он обещал еще в ноябре, и все никак.

– Завтра с утра придет мастер, замерит, – пообещал Топилин. – Послезавтра начнут стелить.

– Ой, было бы здорово. А то мы ждем, ждем. Ждем, ждем. Скоро начало учебного года... и... очень хотелось бы, – она

улыбнулась жутковато-счастливой улыбкой.

Это как нужно напрячь лицевые мышцы, чтобы так скомкать лицо?

Занять бы себя работой, мечтал Топилин. Так, чтобы зашиваться, потеть как грузчик, за день несколько сорочек менять. Было ведь так в девяностые, здесь же, в ООО «Плита», когда всё только налаживалось и утрясалось. Теперь это невозможно. Теперь компания функционирует сама по себе, как космический спутник. Один из недавних авралов: Тома забыла приложить к заявке на тендер копии учредительных документов. А все из-за того, что Каменногорский муниципалитет решил пооригинальничать и затребовал описание технологии. Возможно, новый глава не знал, что такое мозаичная плитка и зачем мостить ею весьма условные каменногорские тротуары. Перед тем как запечатать конверт, Тома, по своему обыкновению, посчитала количество отдельных листов и скрепленных стопок. Количество сошлось. Копии учредительных так и остались лежать в сторонке. Каменногорский глава позвонил накануне проведения тендера: «Извините, у вас тут некомплект. Вы подвезете?» Пришлось Топилину ехать в Каменногорск – сто десять километров. С тех пор Антон подтрунивает над Томочкой: «Ты бумажки посчитала?» А Топилин сам кладет документы в конверт перед тем, как отдать Томе на отправку.

Промышленную территорию «Плиты», через которую ле-

жал путь от крытой стоянки к офису, Топилин обычно пересекал не глядя. Но сегодня рассматривал с тихой радостью. Словно знакомое местечко, на которое выбрал после долгих блужданий по лесу. Хоть здесь покой и никаких происшествий. Распахнутые ворота цехов, побеленные вкривь и вкось бордюры, пристройка бассейна с силуэтами разноцветных пловцов (первый директор комбината был заядлым пловцом и пытался спортом одолеть пьянство), даже дылды-гладиолусы, высаженные в две шеренги заботливыми руками немолодых бухгалтерш, – все излучало надежность и покой. Внешний вид бывшего КСМ – комбината строительных материалов, который когда-то был поглощен кооперативом «Плита», остался нетронут с тех самых пор.

Пройдя через приемную в свой кабинет, застал Тамару перед столом, с веером документов, подготовленных к очередному тендеру. На этот раз в Разъезде.

– Здравствуйте.

Положила документы на стол. Рядом конверт.

Частенько обходится без имени-отчества. Не балует. На ней новый пиджачный костюм. Винного цвета. Ее пристрастие к красному неистребимо. Зато от ядреного кумача добрались наконец до оттенков.

Старательно отводит взгляд.

«Узнала, – догадался Топилин. – Стало быть, тихо не получится».

– Здравствуйте, Тамара.

– Кофе?

– Чай с лимоном. Два. Есть разговор.

Решил обсудить с ней сразу. Чтобы не болтала. Хотя, наверное, толку от ее молчания – чуть. Коль скоро слухи поползли, противостоять этому бессмысленно.

– Я без лимона буду. Можно?

Выложила последнюю стопку бумаг на стол, пошла заваривать чай.

Тома – как переходящее красное знамя – досталась им в начале года от обанкротившегося банка «Любореченский торговый». Позвонил человек от Белова, того самого, с которым когда-то неплохо наварились в обменниках, попросил пристроить хорошую девочку. Девочку пристроили. Бывшего секретаря, толковую Таню Бычкову, пришлось уволить. Сам протеже Белова, некто Леонид Филиппов, остро переживая банкротство «Любореченского торгового», уехал заживать душевную рану в Москву.

С первого дня работы в «Плите» Тамара выглядела потерянной. Тоскующей. Впечатление производила тягостное. Переспрашивала, искала намеков там, где их не было. Названивала Лене по межгороду, перестукивалась с ним в аське, когда у того случалось настроение и время ей отвечать. Топилин ловил на себе ее унылые взгляды, в которых читалось: эх, не тот человек, – и старался лишний раз не выходить в приемную.

В почтовике письмо, пришло на общий адрес – запрос из

газеты «Вечерний Любореченск»: а правда ли, что учредитель и руководитель ООО «Плита» сбил насмерть человека?

Что ж, деловые авралы, может, и в прошлом – но забот с проклятым ДТП будет предостаточно. Не хватало еще, чтобы в газетах началась свистопляска.

После армии не сразу пришел к Антону. Поначалу пытался вскарабкаться сам. Схватился за первое, что подвернулось, – начал работать сапожником в кооперативе. Никто из тогдашних его коллег, впрочем, не называл себя сапожником, а свою продукцию – обувью. Клеили кроссовки, звались «затяжщики» – по ключевому действию производимой операции, заключавшейся в натягивании обувного верха на испод смазанной клеем стельки. Плохо обутый и много ходивший постсоветский народ сметал те кроссовки сотнями пар за выходной.

Топилин на всем экономил, копил. Но примерно раз в две недели выбирался в бар «Интуриста», присматривался к тем, кто успел схватить за хвост удачу в многообещающем бедламе, в котором сам он пока довольствовался статусом затяжщика. В «Интуристе» заметил однажды Антона, но не подошел. Подглядывал издали, как размашисто гуляла бойкая блатная компания. Азартно сорили деньгами, смеха ради поглумились над залетными командированными, которые спустились из номеров, чтобы поужинать, но ушли несолоно хлебавши ввиду несовместимости интуристовских цен с ко-

мандировочным бюджетом.

Судьба лоха, осмеянного и несытого, с которой у него на глазах смирялись миллионы, Топилина не устраивала. Работал на износ. К концу рабочего дня от паров ацетона – смазанный клеем верх нужно было размягчать, разогревая над рефлектором, – голова превращалась в булыжник, глаза переключались в режим «тоннельного» зрения. В какой-то момент Топилин вызвался еще и торговать кроссовками по выходным. Брал под расписку несколько десятков пар, отправлялся автобусом в какую-нибудь областную дыру. Каждый выезд приносил до месячного заработка.

Изготовить первую партию собственных кроссовок оказалось несложно. Скопил деньги на рулон кожзама, потом – на клей и подошвы. За хорошую плату, тайком от общего работодателя, раскройщик вырезал заготовки, швея их сострочила. Двое суток ударного труда, окончившихся рвотой от отравления ацетоновыми парами, и Саша Топилин отправился торговать собственным товаром. Через месяц он снял помещение, через три нанял закройщика и затяжщика, а через четыре к нему пришли серьезные мальчики в дорогих спортивных костюмах (и в настоящих кроссовках «адидас»).

– Работаешь на нашей территории, – сказали они. – Это стоит денег.

Он попросил неделю для ответа. Один из гостей сходу предложил ускорить его мыслительный процесс паяльником. Но другой, самый из них большой и веселый, остановил

своего горячего товарища.

– Ладно, – улыбнулся он. – Через неделю найдешь нас в «Якоре».

В тот же день Топилин позвонил Антону – по номеру из армейской записной книжки, с виньетками из автоматных патронов.

– Вы замучили звонить, – проворчал человек на том конце трубки. – Не живут они здесь больше, не живут. И куда переехали, не знаю.

Антон еще в части предупреждал, что родители собрались продавать квартиру, решили строить дом – благо, теперь можно развернуться. Слушая гудки, двадцатидвухлетний Топилин чувствовал себя так, будто только что узнал: его любимая девушка уехала в неизвестном направлении, он ее больше никогда не увидит, его судьба решена. Караулил Антона в «Интуристе», выискивал по значным местам Любореченска. С ног сбился, с трудом дожидался вечера, чтобы продолжить поиски. При мысли о том, что придется платить дань шпане в «адидасах», Топилин запаниковал. Во-первых, противно. Во-вторых, молва про любореченских братков ходила скверная: и подоят хозяйской рукой, и прирежут, чуть что не так. А то и без всякой твоей промашки, повздорив друг с другом – мол, не доставайся же ты никому. Оговоренная неделя добежала до четверга. И когда уже отчаялся и начал готовиться к визиту в «Якорь», встретил Антона возле нового ресторана «Версаль».

Объяты, крики: «Зема! Корешок!» После долгих армейских воспоминаний, под водку «Кеглевич» и звучащую в сотый раз песню «Серый дождь», у обувного кооператива Топилина появилась капитальная ментовская крыша. Сколько она будет стоять, Антон обещал уточнить в ближайшие дни, но заверил, что недорого, намного дешевле, чем у братков. За полтора года, прошедшие после армии, Антон успел здорово освоиться в новой жизни.

Занимался он в ту пору всем понемногу с любым, кто предложит приличный куш: лес, цемент, металлолом или черепица – Антону было все равно. Он специализировался на посредничестве, кратчайшим путем и тишайшим образом переселяя деньги коммерсанта в карман чиновника или бандита – в зависимости от того, кто *контролировал вопрос*. Бандитам – тем, что покрупней, Антон также оказывал ценные услуги: земельный участок оформить без лишних вопросов, инвалидную книжку, удостоверение помощника депутата. Со всех он имел свой процент, который и позволял ему порхать по кабакам, меняя заодно и компании: менялись проекты – менялись и приятели.

– Я, Саша, типа талисмана, – захмелев, Антон размяк. – Ничё не делаю. Все имею. Перед отцом неудобно, ей-богу! Он уже говорит: «Хотя бы меру знал». А я, прикинь, иногда забываю за деньгами своими заехать. Мне, вон, уже в кабаки их привозят. Такие дела. Сам в шоке.

К середине второй бутылки Топилин понял так ясно, буд-

то прожектор в голове включили: дураком будешь, если не завяжешься с Антоном всерьез. Стать для него одним из многих – все равно что испросить у золотой рыбки корыто.

– Антоха! – сказал Топилин, разливая то ли дынного, то ли грушевого «Кеглевича». – А давай с тобой вместе дело поднимать. Сейчас кроссовки, потом еще что-нибудь. Давай. Не понравится – свалишь.

Антон рассмеялся.

– Да какой из меня обувщик, Саня!

Но Топилин всегда умел подбирать слова.

В «Якорь» к «адидасовцам» наведалься ОМОН, больше они не тревожили.

На глаза попался отклеившийся от монитора стикер, на котором Топилин прочитал: «Арк. Сухов – двор и тротуар. Цена?» Этот самый Аркадий Сухов позвонил ему на мобильный на следующий день после инцидента. Интересовался замостить тротуарной плиткой внутренний дворик и часть тротуара перед домом. Топилину часто звонили с вопросами о стоимости работ: его номер ходил по рукам среди вип-клиентов. Но даже випы имеют градации. К тому же в последнее время звонить стали совсем уж левые: знакомые знакомых, бедные родственники, а то и работники випов. По каждому такому звонку приходилось советоваться с Антоном: какую скидку давать, давать ли вообще.

Нужно бы перезвонить Антону насчет Сухова. Но страх

как не хочется. Лучше спросить при встрече.

Вернулась Тома, принесла чай.

– Садитесь, Тамара. Поговорим за жизнь. Скорей, за смерть. И немножко коснемся праздного человеческого любопытства. В печатном его варианте.

С некоторой возней, сложно пристроив длинные ноги под стол, она уселась перед начальником.

– Там письмо пришло...

– Я видел, Тома. Так вот... Все, что вам нужно знать: Антон Степанович ни в чем не виноват. Произошел печальный инцидент. Случается. С прессой мы не общаемся. Вы отвечаете журналистам, что ничего не знаете, пусть направляют запросы по факсу.

– Хорошо. Я тогда пойду? Я чай пила недавно.

Проверив за Томой комплект документов на тендер, Топилин пролистал новости: что-то снова утонуло, пенсии повысили, скандал с какой-то неизвестной ему звездой – и задумался.

После разговора с Томой хотелось женского общества, как после желатинового сэка хочется настоящей еды. Мила для этого не подходила: пирожными тоже не наешься. Другое дело – вторая жена Вера, с которой он затеял шашни после развода. Топилин пристроил Веру директором фитнес-центра, куда навещался по выходным, и роман с уже бывшей женой, которую можно было разглядывать через прозрачный витраж, занимаясь на тренажерах, здорово его заводил. Че-

тырежды они с Верой недурственно переспали, и Топилин уже надеялся на затяжную послебрачную связь (что оказалось удивительно приятно) – но тут Вера снова собралась замуж. Да еще за гороподобного старлея СОБРа. Вредная, торопливая Вера. Топилин вряд ли сумел бы объяснить, почему с ней развелся.

Причину развода с первой женой понимал прекрасно: Наташа хотела ребенка, а Топилин – так вышло – именно тогда осознал, что детей не станет заводить ни при каких обстоятельствах. До женитьбы думал об этом спокойно. «Можно, – думал. – Когда-нибудь». Но когда вопрос деторождения из плоскости теоретической переместился в практическую и был поставлен ребром, внутри у Топилина как будто что-то взбесилось. Будто супруга предлагала ему не размножаться, а застрелиться ради всеобщего блага. Топилин даже пытался себя уговорить, всячески подзадоривал. Чужих младенцев разглядывал. «Какие милые», – внушал себе настойчиво. Но протест был сильнее уговоров.

Болезненно расставался с Наташкой. Плакала много перед разводом.

Веру предупредил на дальних подступах к ЗАГСу: никаких детей. Она согласилась без лишних слов, пожав плечами – словно говоря: «Отлично. Как я сама не додумалась». Она так гармонично во все вписалась. Первый год Топилин не уставал поздравлять себя с тем, что женился на идеальной женщине: сексапильна, остроумна, свободна от обремене-

нительных инстинктов. Но потом заскучал. Потянулась череда провалов в постели, Топилин решил, что столь радикальный отказ от размножения его не устраивает, – и они с Верой вежливо развелись. А как только развелись, Веру захотелось снова. Случайность провалов была доказана весьма убедительно, и пока не нарисовался собровец, Топилин наслаждался обновленной версией идеальной женщины: соглашается не рожать, спит с тобой после развода.

– Они развелись и жили счастливо, – пробормотал Топилин, глядя в задумчивости на гладиолусы, вянущие за окном.

И все-таки живопись.

Рисунок дается мне значительно лучше. Новый преподаватель в студии, куда я теперь вернулся, говорит, что есть задатки. С красками, правда, сложнее. «Тяжелый мазок, – разводит руками Андрей Валерьевич. – Поэтому все плоско. Нужно изживать». Мама ходила к нему без меня, расспрашивала. Вернувшись, сказала, чтобы я хорошенько подумал.

Я понимаю, конечно, о чем ее тревога: талант. Но, в конце концов, успех ведь достигается трудом. И я буду стараться. Буду осваивать технику. Изживать тяжелый мазок. Говорит же отец своим актерам, что ремесленники – самые счастливые творцы. Вот и я буду ремесленник. Нужно упорство, и все будет хорошо.

В училище принимают только со следующего года, есть время подтянуться. Если не получится живописцем, можно стать художником-иллюстратором. Можно – художником по костюмам, тоже интересно.

Кое-кого из моих одноклассников, посещающих студию, открыто называют одаренными. Нет, меня это не задевает. Возможно, самую малость. В любом случае я научен не мерить себя относительно других, и уж тем более не завидовать.

Мне скоро пятнадцать, и лихорадка беспричинного счастья больше меня не тревожит. Зато теперь я умею упиваться

грустью. Проснуться рано, сесть у окна, уставившись в пустой переулок. Ждать первого прохожего. Родители ушли на работу. Дом затих. Только ходики в гостиной трудятся, перекачивают увесистые секунды. Прохожего непременно нужно дожждаться, иначе мне шагу от окна не ступить, не разорвать колдовские путы мной же придуманной игры. Ожидание, бывает, затягивается. Иногда я даже опаздываю на первый урок. Но сладкая утренняя меланхолия, которой я предаюсь, рассматривая наше захолустье, заштрихованное косыми заборами, опутанное мятой лентой грунтовок, ослабившееся шифером в громадину неба, – моя меланхолия не отпускает меня, пока не завершится многоточием – звуком шагов по тротуару. Сам прохожий мне не интересен. Дождлся – можно умываться и завтракать или хватать портфель и бежать в школу, если уж совсем припозднился. Толстяки голуби толкаются вокруг хлебной корки. Покосившееся крылечко поймано на веревочный аркан. И потом, каждую осень все клены в округе тянут ко мне растопыренные золотые ладони. По некоторым, дотянувшимся достаточно низко, я скольжу рукой.

– Привет, золотой.

– Шша, – отвечает клен: не любит сентиментальности.

Скоро пятнадцать. Не знаю, жду ли я этого. Три года до совершеннолетия. Три года до взрослой жизни – а что там, с чего начать-то?

Своих новых товарищей в художественной студии я сто-

ронюсь. Недавняя попытка дружбы с Костей Дивным закончилась странно и обидно. Он меня побил.

Полугог отчислил его из школы. О том, что я был единственным из класса, кто не настучал на него в директорской, Костя наверняка знал. Я рассчитывал на благодарность и прочее – но вышло совсем наоборот. Весь месяц, проведенный в школе до отчисления, Костя со мной не разговаривал. Я ждал, полагая, что Костя таким манером переживает собственное предательство: все-таки он назвал меня подстрекателем. К тому же я и сам был в шаге от предательства, и если бы не мама... За несколько дней до начала каникул, возвращаясь с уроков, я завернул за угол «Промтоваров» и увидел Костю. Он был с парнями постарше. Остановился, посмотрел на меня. Я сбавил шаг, заулыбался. Дивный подошел и, не говоря ни слова, саданул меня коленом между ног. Под всеобщий хохот я рухнул на землю, да так неудачно, что расшиб подбородок.

Потом я каждое утро понедельника видел Костю на остановке, где он ждал автобуса, чтобы добраться после выходных в свой интернат для трудновоспитуемых. Он делал вид, что не замечает меня, – я представлял, как когда-нибудь с ним расправлюсь.

Когда я заявился домой с побитым лицом и рассказал маме финал истории с Дивным, она сказала только:

– Держись, боец.

И чмокнула в лоб.

Папа, с которым мы увиделись на следующий день, увел меня в сад и разразился долгим взволнованным монологом о том, что добро должно быть с кулаками и нужно уметь за себя постоять.

Через несколько дней на любимую мамину сливу папой был водружен боксерский мешок. Я долго прогуливался мимо, пробовал плечом вес диковинного плода, выросшего в нашем саду. Присматривался. Почти как к Косте на остановке по понедельникам. Пока не получил свежий стимул: на занятии по живописи мой одноклассник из одаренных, Дима Богуш, толкнул меня, сгоняя с места, которое он считал своим. По возвращении домой я исколошматил мешок так, что кожа на кулаках полопалась.

– Давай, давай, – подбадривал папа в окно, собираясь после больничного дежурства в театр. – Наподдай.

Со временем он и сам стал хаживать к мешку – «спустить пар».

Ссутулившаяся спина с дергающимися лопатками, на которую взвалена неудобная, незнакомая ноша... Застав меня однажды у окна мансарды во время боксерских экзерсисов отца, мама встала рядом, погладила меня по голове. Мы постояли немного вместе, она взяла что-то из шкафа и спустилась вниз. Казалось бы, обыденные проходные секунды, а ведь тоже – хранятся, не выцветают. Даже пятнышко зеленки на мамином пальце помню и то, что, поднимаясь по лестнице, она бубнила себе под нос: «Соединить, не смешивая...

хм... соединить, не смешивая», – в очередной раз пыталась разгадать секреты кулинарии.

Отец тоже был бит.

Прошло несколько месяцев после того, как в «Кирпичике» сменился главреж. Отношения между отцом и Суровегиным оставались натянутыми. Эпоха неформального лидерства в «Кирпичике» для отца, похоже, прошла безвозвратно. Увы, начальственное ничегонеделание Суровегина в отличие от Шумейко не устраивало. Он быстро освоился и свои модернистские спектакли, которые папа называл сценическими ребусами, ставил сам. Папиному репертуару: Шекспир, Чехов, Вампилов – пришлось потесниться.

– Прорвемся, – все повторял отец. – Делай что должно, и будь что будет.

Слова эти звучали тоскливо и неубедительно. Все тоскливей, все неубедительней. В них попросту невозможно было поверить, глядя в потускневшие папины глаза.

Лучше бы не говорить ему с мамой о «Кирпичике». Но он затевался снова и снова.

– Ничего, Марина. Дело важнее. По крайней мере, для меня.

А она молчала и улыбалась. Иногда отвечала что-нибудь ободряющее.

– Образуется. Ты, главное, соберись.

Я больше не видел отца таким, как в то субботнее утро, когда он кричал с порога: «Строиться на завтрак!» Или та-

ким, как на зимних шашлыках – преисполненным пронзительного затишья, могучего одиночества. Я больше не видел его таким.

Он стал пропадать в «Кирпичике» дольше обычного. Со смены в больнице ехал напрямик туда. Язвил: «Притираюсь к шефу». Мама смотрела на него с тревогой, во мне сочилась подростковая любовь к отцу, ядовитая и неразрешимая. Как ее выразить, на что употребить – было совершенно непонятно. Дома между нами сохранялась давным-давно установленная дистанция. А театра – папиного театра, который до сих пор так щедро восполнял все пробелы, – почти не осталось.

Дело, конечно, важнее. Для отца, и вообще. Я не забывал себе об этом напоминать.

Многословные утешения в нашей семье были не приняты. Казалось само собой разумеющимся, что слова поддержки отмеряются скупой – как лекарство. Я вдруг узнал, что сочувствие может быть обстоятельным, подробным. Отцовские друзья приходили по одному и компаниями, кто со спиртным, кто с новой книжкой, – и утешали папу вдохновенно, складно переходя от сарказма к панегирикам, от сплетен к философии. Отец, казалось, решил дослушать все, что они ему не договорили сразу после назначения Суровегина.

Маму сострадающие бесили.

– Как грифы над захромавшей кобылой, – ворчала она. – Вот уж не предполагала в них таких рефлексов.

Но никаких сцен. Встретив приветливо отцовских друзей, накрыв на стол, мама обычно уходила в мансарду, а если ее просили остаться, отвечала, что не научилась пока смаковать Гришину невезуху, боится испортить сугубо мужскую беседу.

– Второй номер будто приклеился к тебе, – вздыхал папин друг Ваня Самойлов, бард и геолого-географический доцент. – Что за карма такая? В больнице-то тебе что-нибудь светит, нет? Завотделением, к примеру... нет?

Но карьера врача отцу, кажется, никогда не была интересна. Он пропускал больничную тему мимо ушей.

– Старик хотя бы работать давал, – ностальгически вспоминал он Шумейко. – Ну, придет на репетицию, посмотрит, поумничает. Что-то сделаешь, что-то нет. Он к следующему разу и забудет. К тому же у старика хотя бы вкус был. А этот...

– Ты звони, – приглашали друзья, уходя.

И папа звонил. Все чаще и чаще. Уединяясь на веранде или на кухне – для чего тащил телефонный шнур из прихожей через весь дом.

Я чувствовал, как холодок вползает в отношения моих родителей. Ничто другое не могло так удивить и напугать меня. Так не бывает. Какой-то там Суровегин, которого я представлял себе красноносым и толстозадым, с рыбьим презрительно сложенным ртом...

Становилось все очевидней, что отец смирился со своим

новым положением – с реальным статусом второго человека в «Кирпичике».

Вот теперь я скучал по нему. Или это было какое-то другое чувство? Оно не покидало меня и тогда, когда мы были вместе.

Большую часть своего театрального времени отец проводил в общаге, где у него с актерами-любителями образовалась фронда против Суровегина. Бывало, я заходил туда за отцом и заставлял его погруженным все в те же мучительные пересуды.

– Вот он же загубит «Кирпичик»! На весь город гремели, и нате, явился! Герострат чертов!

– Ведь всё Григорий Дмитриевич наладил. Лично. Собрал нас.

– Да что собрал! Вырастил, можно сказать.

– Так бы взял комсу поганую за жабры, приподнял над землей, заглянул бы в глаза его...

– Прикроют в два счета. Общежитие вообще нигде не значится. Строиться начинало как склад. Сам строил, знаю.

– Эх!

– И не говори.

Фрондёры, определенно желавшие возвращения отца к художественному руководству, побаивались, однако, репрессий: общага существовала на птичьих правах – коллективный самострой, которому так и не дарован был официальный статус, а как далеко мог зайти комсомолец-модернист в

подавлении бунта, никто не знал.

Зинаида в общагу навевывалась часто. Очень хотела со всеми дружить. Приходила с пирогами. Поедаемые в общаге пироги: яблочные, грушевые, с черносливом – первое, чем запомнилась Зинаида. Впрочем, запомнилась она и другим: неодинаковыми стрелками на глазах, молчаливым перемещением по комнате. Она, помню, никогда не сидела подолгу. Не сиделось ей. Вид у нее был такой, будто она только что разбужена будильником и тщетно пытается вспомнить, зачем заводила его на такую рань. Веснушки, соломенная челка. Серебряное колечко в виде дельфина, прыгающего поперек фаланги. «Ой, какое кольцо интересное», – дельфин подхватывал, удерживал на плаву внимание собеседника.

Что-то детское было в ее в лице, младенческая червоточинка.

Она не была безобразной. Если бы наружность Зинаиды Ситник могла существовать сама по себе, как снятая с руки перчатка, она, возможно, была бы привлекательна. Среди римских бюстов полно таких, которые – чуть представишь живыми людьми, превращаются в гадких уродцев. А если не представлять – ничего. Порода, благородство, завитки волос. Вот и внешность Зинаиды производила удручающее впечатление лишь потому, что жила такой куцей, придавленной жизнью. Всё она делала как бы украдкой, как бы стесняясь – начинала шпионить за собой: «Как я выгляжу?» – и деревенела окончательно. Эмоции вырывались из этого плена

еле живыми. Когда Зинаида смеялась, хотелось отвернуться, будто застучал ее за чем-то неприличным.

Потом говорили, что всем с самого начала было понятно, ради кого она ходит в общагу, ради чего прибилась к «Кирпичику». Что невозможно было не заметить, как Зина поедает глазами моего отца, как вспыхивает под его ответным взглядом. Наиболее вовлеченные – те, кто бывали у нее в гостях в угловой квартирке с видом на завод и, подкармливаемые сладким, рассказывали о «Кирпичике», вспоминали, как жадно она слушала все, что касалось становления театра, – о вечерах театральных чтений, которые отец когда-то проводил в одиночку... о том, как, сидя в луче настольной лампы, ни разу не встав, не сделав случайного жеста, хрипловатым своим голосом он разворачивал перед зрителями сложнейшие драматические миры, молва о которых разбежалась по Любореченску... как после полугода аншлагов отец устроился наконец к Шумейко, как в городе заговорили о любительском театре, в котором начали ставить настоящие спектакли... Рассказывали, что у Зинаиды тряслись руки, когда она слушала про отца. Ей было совершенно не важно, что эти истории были сплошь из славного прошлого, завершившегося столь печально вместе с уходом Шумейко.

Она зубрила один монолог за другим и ждала, когда отец предложит ей любой, самый бросовый эпизод в каком-нибудь спектакле.

Но я в свои почти пятнадцать всего этого не замечал. Я,

разумеется, знал из книг, что у жен и мужей случаются измены, что бывают любовники и любовницы и все это заканчивается большими неприятностями. Полину Лопухову, к примеру, я вычислил бы в два счета. Но представить тусклую кислую Зинаиду рядом с моим отцом – смех, да и только.

Стоит мне подумать, что в те вечера, когда я бывал в общаге вместе с ним, Зинаида и меня ощупывала осторожными своими зрачками, у меня комок подступает к горлу.

Когда Суровегин перетянул на свою сторону администратора Дома культуры, доселе тихого и незаметного Толю Чумакова, который ввел пропуска, сухой закон и утверждаемый на месяц вперед график репетиций, труппа дрогнула и притихла. Отец перестал ходить в общагу. Утрясать график репетиций с графиком больничных дежурств ему было непросто.

Жизнь все еще волнует ощущением нашего уровня.

Кое-кто из тех, чье мнение важно, – всегда на виду. Лев Николаевич белеет бородой со стены гостиной, дядюшка Хем в толстенной водолазке щурится из-за стекла книжного шкафа.

Приятно принадлежать к тайному ордену героев, участники которого обязаны жить, соблюдая опасные правила, непосильные и не обязательные для остальных. Правда, не понятно, с кем, когда и где мы вступим в битву.

Совдепия доживала свое. Никому, кажется, не было до

нее дела. Вся антисоветчина в доме, в общем-то, и сводилась к словечкам бабы Жени да шпилькам в адрес Суровегина. Новомодный интерес к политике ограничивался редким просмотром программы «Время», транслировавшей бодрый бубнеж Горбачева вперемешку с напористыми выступлениями депутатов. Было ясно, что поля наших битв располагаются где-то не здесь, далеко от сумятицы перестройки.

Позвонила Мила.

– Да, Милочка.

– Ты про меня все-таки забыл.

Голос обиженный. Не кокетливо-хнычущий – такого в их деловых отношениях не предусмотрено, – а обиженный.

Ну да, забыл. *Денги.*

– Я просто сейчас как белка в колесе. Извини.

– Я так скоро ноги протяну, Саш.

– Извини, Милочка.

– Сегодня можешь?

– Обязательно.

– А можешь сразу заехать куда-нибудь и купить всего? А то у меня вообще шаром покати. И нездоровится.

– Куплю всего и приеду. Жди.

Ближайший гипермаркет на Фрунзе.

Как не стыдно, Саша! Для того ли она честно раздвигает ноги, чтобы их протянуть?

Задумавшись, свернул на Садовую, и прогадал: пробка. А когда-то центральная улица была одной из самых свободных и по ней можно было пересечь Любореченск с запада на восток минут за двадцать. Фраза «он ездит по Садовой» говорила о многом.

Движение было запрещено здесь году в девяносто четвер-

том. Но не для всех. Достаточно было прикупить корочку помощника депутата или спецномер, и кататься на здоровье. Поначалу гаишники тщательно за этим следили, отлавливая и штрафуя машины, номера которых не входили в серии «ало» (администрация Любереценовской области), «мло» (мэрия) и «нло» (налоговая). Но со временем, к стабильным нулевым, спец– и вип-номеров наплодилось столько, что спец– и вип-машины образовывали на Садовой сплошной поток, выдернуть из которого простачка-нарушителя, не создав при этом неудобств остальным, стало не так-то просто. Сейчас центр запружен во всех направлениях. Знаки, запрещающие движение по Садовой, остались. Но гаишники здесь больше не стоят, и по Садовой катается всяк, кому не лень. К неизменному удивлению иногородних водителей.

В «Окее» на Фрунзе набрал полную тележку. Ни один стеллаж не пропустил. Ощутил себя порядочным и обязательным – таким, каким хотела видеть его милая Мила.

Так и писала в своем объявлении, попавшемся ему на глаза в ворохе спама: «Стану любовницей за содержание порядочному и обязательному человеку. Гарантирую ответную порядочность и хорошее настроение».

А все-таки хорошо, что Мила есть. Кто, кроме нее, сумел бы вот так, в один щелчок, его взбодрить...

Но когда доехал до кольца на Космической, руль сам собой повернулся направо, в сторону Северного рынка. Туда,

где уже много лет стоит за потрескавшимся овощным прилавком, сама такая же треснувшая, жалкая, с перепачканными руками и калькулятором, выглядывающим из кармана замызганного фартука, – та, с которой отец провел последние несколько лет своей жизни.

Топилину тяжело с ней встречаться. Ничего не меняется от того, что они постоят друг против друга, перебрасываясь пустыми фразами через свеклу и картошку, прерываясь каждый раз, когда Валюша отпускает очередного покупателя. Взгляд равнодушный. У стареющей Валюши других не бывает. Возможно, это лучшее, что могло с ней случиться, – равнодушно стареть.

От прилавка они не отходят, а раньше хаживали в близлежащие кафешки, где вечный гвалт и роится рыночная пьянь. Брали кофе в пластиковых стаканчиках, садились за стол. Минут через пять, когда они замолкали, обменявшись первыми обязательными вопросами: «Как дела? Как бизнес?» (Топилин каждый раз давал понять, что Валюшина овощная торговля в его глазах хоть и небольшой, а бизнес), – кто-нибудь из перегарных мужичков подходил стрельнуть сигаретку или червончик. Иногда прогуливались вдоль общепитовского ряда, вдыхая густую вонь, настоящую на пиве и укропном отваре, в котором готовили раков. Мерзейшая вонь на свете. Валюша ее уже не замечает. Отвар выливают в зарешеченную ливневку, но ливневка давно и навсегда забита. Ветки укропа и раковая шелуха лежат гниющей грядкой.

Можно идти, растягивая любезную беседу: как дела, как бизнес, – и ловить взглядом высунувшийся навстречу тебе кончик клешни, рачьёю ножку, ощерившийся лепестками хвост.

– Какие люди! – Валюша заметила его издали.

Она почему-то не любила здороваться. Возможно, отсутствие приветствия считала знаком дружеских отношений.

– Мимо проезжал, – пояснил Топилин, становясь у прилавка.

– Всю область замостили? Или еще остались куски?

– Еще остались. Но мы стараемся. Как у вас?

– Да коптим помаленьку. Картошка, зараза, подорожала. Стали меньше брать.

– Может, временно? Пока к новым ценам не привыкли.

– Может, временно, – согласилась Валюша. – Посмотрим.

Как сам?

– Да в норме.

– Как мама?

– Тоже. Спасибо.

Мимо них под крики «Ноги! Ноги!» прокатилась тележка со свиными головами. Одна из голов показала Топилину язык.

Качнувшись, Валюша прислонилась к прилавку боком.

– Слышала, ты человека насмерть сбил.

Топилин скривил губу.

– Да нет. Не сбивал.

– Брешут?

– Да брешут.

– А-а-а, – протянула Валюша. – Побрехать у нас любят.

Ему тяжело с ней встречаться. Но это необходимо. Как необходимо «поплывшему» боксеру вдохнуть нашатыря. И Топилин, всегда спонтанно, наведывается на Северный рынок, постоять у овощного прилавка, перебраться с базарной матроной короткими бессмысленными фразами, словно шифровками: «Как все паршиво для тебя повернулось, Валюша... Да и ты, Санек, как я погляжу, не шибко счастлив».

– Вам вроде крытый павильон обещали построить?

– Обещали. Даже деньги собрали. В счет будущей аренды.

– И что?

– Обещают. Может, даже построят. Экскаватор вон в июне пригнали. За мясным стоит. Плиткой мостить, я так понимаю, вы будете?

– Да наверное. Кто ж еще.

Обмен информацией, ради которого он сюда пришел, состоялся: все по-прежнему, ничего не изменилось. Но приличия ради нужно хоть немного продлить беседу. В этот раз это особенно сложно. Собравшись с силами, Топилин расспросил Валюшу о стоимости аренды, о том, насколько рентабельней торговать самой, чем нанимать. И, случайно покрутив головой, понял, что следует торопиться. От рыбного ряда со стопкой пластмассовых ящиков в вытянутых руках к ним направлялся Руслан, Валюшин сын от первого брака.

Сложен он был отлично: кряжист, разнузданно плечист. В

жаркую погоду любил ходить по пояс голый – весь такой бугристый, тугой. Сводных братьев-сестер у Топилина не было. Но знакомя его с мальчиком Русланом лет десять тому назад, Валюша сказала так: «Считай, твой сводный брат. В каком-то смысле». Все эти годы, правда, обходилось без братаний – но и Топилин не зевал, вовремя успевал ретироваться.

– Ла-а-адно, – протянул он, закругляясь. – Мимо проезжал. Дай, думаю, заскочу.

– Будь здоров.

– И вам не хворать.

И Топилин отправился к выходу.

Нет, дело не в позициях. Положение второго человека при Антоне Литвинове нисколько не тяготило Топилина. Это место он занял сознательно и расчетливо, без трагического заламывания рук. В отличие от многих, прогнущихся позднее – и против собственной воли.

С самого начала, с судьбоносных посиделок в «Версале», он понимал, что рано или поздно вожаком в их тандеме станет Антон Литвинов, у которого вся родня при портфелях, дальняя – при портфельчиках. Выбор все равно был – нулевой. Страну будто посадили в тюрьму пожизненно. Городами правили вчерашние карманники. Народонаселение – кто скрипя зубами, кто с огоньком неофитов – осваивало азбуку «понятий». Кооператоры откупались от братвы. Власть изображала власть. И всех, казалось, устраивало. Но не мог-

ло быть долгим правление урок. Не наблюдалось в этих людях страсти к порядку, без которой долго ведь не поцарствуешь. Не понимали они пользы системности.

Кооператор Топилин догадался быстро: в силу своего босяцкого буйства братва пожрет самое себя, а тихие кабинетные карлики, которых для оптимизации бизнес-процессов подкармливают такие, как он, вырастут в вальяжных великанов. Брататься с будущей – подлинной – властью следует как можно раньше. И Антон Литвинов – человек нормальный, не хам и не подонок, не дурак, кабинетами не придушен – на роль побратима подходил идеально.

– Алло, Саш. Ну, что там?

– На завтра перенесли. Она сегодня не может.

– Почему?

– Днем ее к следователю вызвали для дачи показаний.

– Какие она там показания может дать?

– Мне почем знать... Вечером у нее какие-то дела. Я с бухты-барахты не хочу лезть. Дело тонкое.

– Да понятно, понятно. Правильно. Слушай, но меня этот тупоголовый удивил, следак наш. Ему же сказали, чтобы не торопился, переждал пару дней. Вот упырь в погонах. Развернул тут деятельность.

На Топилина следователь не произвел впечатления упыря. Скорее, напуганным показался. Первый раз, видимо, деликатное дело ему поручили, звонили сверху, неформально

с ним беседовали.

– Антон, что ты дергаешься? Всё это они бы проделали в любом случае. Тебе же сразу сказали, что бумаги оформят, не могут не оформить.

– Да понятно, понятно. Сразу звони.

Все-таки удалось вытащить Веру в ресторан.

Пригласил ее в «Европу» на углу Пановой и Кутузовской.

Явилась в легком шоколадном платье, которое замечательно шло к ее теплым карим глазам. Сумочка кофейного цвета с золотистыми крапинками замечательно шла к платью.

– Потрясающе, – улыбнулся Топилин, прилежно любуясь сливочными туфлями.

Вера, как всегда, прекрасно вписывалась в планы Топилина.

– Луи Ветон, – сообщила она, привстав на носочки и слегка повернувшись перед тем, как усесться на предложенный стул.

«Новый наряд от нового мужика», – дошло до Топилина. И он огорчился.

Легкий настрой в первую же минуту randevу дал серьезный крен и начал заваливаться в сторону ворчливой ревности. Держался как мог. Шутливый тон выдерживал.

– Как делишки?

– Судя по всему, хуже, чем у тебя, Верок.

Выдохнула, как бы попытавшись сдержаться и не сдержавшись:

– Ну да. Что есть, то есть.

– Что, старлей действительно так хорош? – поинтересовался Топилин, раскрывая винную карту.

Вера поднялась, прихватив со спинки стула сумочку. Шагнула туда, где только что привставала на носочки, повторила демонстрацию.

– Вопросов нет. Наглядно.

– Сам выбирал, сам покупал, – хвасталась Вера, вновь усаживаясь за столик.

– Превосходный выбор.

– Спасибо за комплимент, милый. Я долго к Андрюше присматривалась.

Ну вот, нарвался.

– Как это – долго? Мы весной только развелись.

– Ну, Саш... Ясно же было, что к тому идет.

Разговор катастрофически зацикливался на соборовском старлее.

– И замуж уж берет?

– Заявление вчера подали.

– Поздравляю. Мы, стало быть, обмываем событие?

– Ты так приглашал... просто совпало...

Официант с лицом услужливого официанта – а это в Любореченске редкость – дожидался, пока его позовут, стоя за зеркальной перегородкой, прикрывавшей проход на кухню.

Топилин подозревал его взглядом.

– Мы будем баранину... У тебя, Верок, вкусы не изменились?

– Нет. Барашек моя слабость.

– И вина принесите. Бургундского, например. Пятилетней выдержки есть?

Официант расспросил насчет салатов и закусок, от десерта Вера сразу отказалась.

Вечер был таким же недолгим, как заказ блюд. Вспомнить, о чем говорили, Топилин не смог бы уже через полчаса.

Забирал ее собровец. Она скинула ему эсэмэску, он подъехал минут через двадцать. В зал не входил, позвонил из машины.

– Спасибо, Саша, за приятно проведенное время.

– На здоровье, Вера. С превеликим моим удовольствием.

– Только ты не обижайся... у нас ведь с тобой начистоту. В общем, если реакция Андрюши на нашу с тобой встречу будет такая, какую мне хотелось бы получить... ну, если он справится со своими цельнометаллическими замашками, возможно, это не последняя наша с тобой встреча. И я вас обязательно познакомлю. Хорошо?

Наклонилась, чмокнула его в щеку.

Злая, злая бывшая Вера.

Вызванный к ресторану таксист предложил поехать по Пушкинской: путь длинней, зато пробки короче. Поехали

по Пушкинской. Бронзовый Александр Сергеевич, которого любореченский скульптор наделил несколько хитроватым выражением лица, разглядывал запруженный перекресток так, словно готовил какой-то подвох.

В открытые окна «Рено» вливался автомобильный чад и гул работающих двигателей: таксист экономил бензин, не включал кондиционер. Машина проползала за раз метров пять-десять и замирала.

Один из отрезков Пушкинской, долго дремавший под невидящим взглядом Топилина, вдруг дернулся и ожил, кинулся совать ему в глаза старинные потертые виды. Офисной высотки здесь тогда не было. Извилистым проходным двором можно было пройти от автобусной остановки на площадь Зои Космодемьянской, к автодорожному техникуму. Двор, на край которого наступила офисная коробка, обзавелся воротами с магнитным замком.

– Я выйду.

– Полчаса назад проезжал, такого не было. Видно, авария впереди.

– Ничего, я тут про дело одно вспомнил.

– Ну, если дело... А мне, бывает, хочется выйти, хлопнуть дверью, и... гори оно всё... Достало! Лучше на велике, ей-богу. У меня вон сосед...

– В другой раз доскажешь, ладно?

Расплатился и вышел.

Когда-то спортзал Автодора был элитным – «центровым»

тогда говорили – местом, чем-то вроде клуба делового общения. Уже достаточно деловые, но еще не отягощенные деловым этикетом любореченцы общались, присев на длинные крашенные лавки, до или после тренировки, а то и между подходами к снарядам; или в раздевалках душевых, обмотавшись полотенцами; или в вестибюле у широченных подоконников, под фотопортретами корифеев и передовиков. Ходили туда и братки, и мирные любители спорта, и начинающие бизнесмены, к числу которых принадлежал тогда и Саша Топилин, обувщик. Функционировал клуб по принципу «свои здесь не платят». На вопрос какого-нибудь новичка: «А сколько здесь стоит в месяц?» – ответить, взглянув наивно: «Нет, братишка, не знаю... Я *так* хожу... Пацаны пускают», – дорогого стоило. По нынешним меркам – все равно что, выходя из «Майбаха», въехавшего под «кирпич» на виду у гаишника, подмигнуть водителю, отчаянно высматривающему, куда бы припарковать свою «шоху»: «Да тут везде запрещено».

Хаживал в Автодор Георгий Иванович Макаркин, бывший чемпион Любореченской области в весе пера, полутоннаметровый пенсионер в обвислых штанишках. Приходил, садился на лавку возле ринга. Ни с кем не заговаривал первым. Но через какое-то время кто-нибудь просил его:

– Иваныч, посмотри у меня боковой.

Или:

– Иваныч, посмотри, как у меня ноги.

Иваныч смотрел, морщил размазанный по лицу нос, показывал, как надо.

Топилина, припавшего к открытому окну после очередного нокдауна, сам однажды окликнул:

– Тебе, парень, защиту нужно ставить.

Почему защиту, Топилину было ясно (кончик языка во рту теребил клочок разбитой щеки). Но чем он, спортивно обделенный переросток, привлек внимание Иваныча – Топилин не спросил, а старый тренер объяснить не удосужился.

За полгода, пока не пропал из Автодора, Макаркин неплохо его поднатаскал.

– Чего ты встал?! Чего встал?! Вроде как: я ударил, теперь его очередь. Двигайся давай, не спи! Пойми своей башкой: защита – такая же активность, как нападение. Запомни, все твои неприятности из-за того, что ты не успел сделать что-то, что должен был сделать. Вот и все. Ты сам не успел... понимаешь? Не сделал то, что должен был. А противник дело двадцатое.

Ни одна из прочитанных в юности книжек, самых восхитительных, после которых в распаленной душе стоял долгий привкус красоты и полета, не принесла и сотой доли той практической пользы, которую он извлек из советов Макаркина. Посредством нескольких десятков слов бывший чемпион будто перевернул Сашу Топилина с головы на ноги: «Так-то оно удобней будет». Именно там, на ринге Автодора, Топилин не понял даже – в буквальном смысле почув-

ствовал своей башкой, насколько безопасней двигаться, чем стоять. И немедленно употребил приобретенные навыки вне ринга. Начал искать спасения в действии. Под окрик: «Чего ты встал?! Чего встал?» – решение любых проблем давалось намного проще. Так, он одним из первых в Любореченске свернул кроссовочный бизнес. Антон сомневался, стоило ли. Но вскоре в городе наладилась продажа настоящей обуви, а там и цены на фирменные кроссовки поползли вниз. Выгодно продал кооператив молодому армянину, купил магазинчик на Малороссийской, возле которого потом открылся кинотеатр.

Дверь в Автодор оказалась заперта изнутри. В вестибюле слонялся сторож.

– Уважаемый! – окликнул Топилин. – Подойдите на секунду!

Сторож сначала махнул на него раздраженно рукой, но потом, подумав, все же подошел. Щуплый подвижный старик, чем-то похожий на Иваныча. Выражение лица – как у запущенного секундомера: «Время идет, излагайте».

– Вы не могли бы...

– Закрыты! Выходной! – резанул сторож.

– Вы не могли бы меня впустить ненадолго? Я когда-то тренировался здесь, в вашем спортзале.

– И что?

– Да вот, ностальгия. Можно, я пройду в спортзал, посижу там?

– Шутишь, что ли? – он пожал плечами и развернулся, чтобы уходить. – Делать нечего.

– Отец!

Это обращение к посторонним пожилым мужчинам вызывало у Топилина рвотные позывы, но уж очень хотелось пройти.

– Пропусти, в натуре. Только с зоны откинулся, дай молодость вспомнить.

Сторож замаялся. Для верности Топилин вынул из бумажника пятисотку, прижал ее к стеклу.

– Пусти, не обижу.

Сторож повертел головой, как будто ему давил воротник, и с примирительным ворчанием подошел к двери.

– Ладно. Раз такое дело.

Открыв дверь, он отступил в сторону.

– Только тсс... Начальство наверху. В комп лазит.

Топилин сунул купюру в брючный карман сторожа.

Тот стыдливо сморгнул.

– Куда идти, помнишь? Там открыто.

Ни ринга, ни тренажеров не осталось. В углу стопка матов. Для любителей побоксовать в дальних углах оставили мешок и грушу на пружинной растяжке. Включил свет. Не глядя в зеркала, прошел по залу. Снял пиджак, бросил его на маты и сел на длинную, винтом перекошенную лавку. Лавка качнулась, сердце екнуло: она и тогда качалась точно так же и громко топала, когда кто-нибудь шлепался на нее

с размаху.

Зал арендовал Леха Фердинский по прозвищу Махно. Огромный двадцатипятилетний качок, словно скрученный из корабельных канатов. Лицо ясное, как небо над спящим океаном. Гагаринская улыбка – и красноречивая колотая рана под левой грудью.

– Парни, тренируйтесь хоть до утра, – говорил он, улыбаясь, в сопящий и лязгающий железом зал. – Только кто забудет ключ на вахту сдать, потом не обижайтесь.

Или:

– Парни, об одном всегда прошу: в душевой не ссыте, пожалуйста.

– Да мы не ссым, – отвечали парни.

Свое прозвище он получил, промышляя грабежом на польских дорогах: шерстил там без разбору соотечественников из бывшего Союза.

Топилин смотрел в пустоту зала и представлял, как Леха, разминаясь, идет вразвалочку. Потряхивает рукой толщиной с ногу большинства собравшихся. Приветствует корешков быстрыми крепкими объятиями.

Иваныч однажды занял у Лехи денег. Тот ссужал завсегдатаям Автодора под льготный процент, десять в месяц. Займы происходили на виду у всех, на старенькой школьной парте, стоявшей у входа. Вся бухгалтерия – роспись в школьной тетрадке, в таблице после фамилии и суммы. Беря в долг, Иваныч сказал, на дело. Леха решил, что бывший боксер,

как все нормальные люди, занялся коммерцией: купит, продаст. Когда пришел срок возвращать, выяснилось, что Иваныч потратил деньги на то, чтобы отправить дочку за границу, гувернанткой работать. Не хватало до нужной суммы. Квартиру свою продал, снимал теперь жалкую каморку где-то на Соляном спуске. Иваныч предложил Лехе подождать, пока дочка встанет на ноги и вышлет деньги. Но Леха обиделся и ждать отказался.

– Я ж не благотворительный фонд, – улыбнулся Леха из-под штанги: слушая Иваныча, продолжал делать жим лежа. – Брал вроде на дело... Не мог, что ли, по-человечески попросить? Я бы дал... Неделю могу тебе накинуть из уважения. Не больше.

Кто-то из корешков, говорили, пробовал Леху урезонить – мол, прости старика, пусть как-нибудь отработает. Но Леха взъелся не на шутку.

– Мало того что развел в темную, как лошка, так даже не извинился. За человека не держит.

Макаркин в Автодоре больше не появлялся, и никто его в городе не видел. Всем все было ясно. Никто ничего не спрашивал. А Леха по-прежнему улыбался гагаринской улыбкой, говорил что-нибудь вроде:

– Парни, вы, когда блины на другой снаряд переставляете, вы потом возвращайте, откуда взяли. А то ходишь, ищешь. Пожалуйста.

– Хорошо, Леха, – отвечали парни.

После исчезновения Иваныча Топилин несколько раз занимал у Лехи долларов тыщонку-другую – говоря нынешним языком, перекрыть кассовый разрыв.

Двигаться, главное – двигаться. Движение – основа успеха.

Поднявшись с лавки, он снял сорочку, накинул на шведскую стенку. Подошел к зеркалам, на ходу втягивая живот. Втягивай, не втягивай, жирком зарос изрядно.

Приняв стойку, Топилин сделал несколько нырков и уклонов – влево, вправо. Потом апперкот и кросс через воображаемую руку противника. И еще – джеб, джеб, правый боковой.

– Чего стоишь, Саша?! Двигайся! Двигайся давай!

Он принялся кружить перед зеркалом, сыпля ударами. Волосатое пузо резиново качалось над ремнем. Недавний ресторан отзывался тяжестью и винной отрыжкой. Перейдя к мешку, Топилин принялся всаживать в него увесистые удары. В ушах стоял голос Иваныча: «Плечо доводи! Не тянись за кулаком! Опорную на носок!»

Серии давались с трудом: не то, разлаженно, без акцента.

Движуха, Саша, движуха. Но куда ты вырулил со своей движухой? Где оказался ты, чем гордишься? Был всех сметливей? Раньше всех завалился на спинку? Грамотно подстелился, это да. Мало у кого получилось с такой же грацией. Сворачиваются теперь, сердешные, в мучительный крендель.

Из бывших посетителей Автодора выше всех забрался Гоша Трофимчук. Дорос до строительной компании. Пока представлялся сборными коттеджами, все шло неплохо. В 2007-м занялся многоэтажным строительством. Арендовал участок, набрал дольщиков, инвесторов привлек. Высотка почти достроена. Когда начинал, договорился обо всем в Стройнадзоре, там обещали кругом уладить. Но человек, с которым договаривался, улизнул по болезни на пенсию – и выяснилось вдруг, что Гошина высотка строится слишком близко от заправки, что стоять она там никак по закону не может.

Топилин скоро выдохся. Большой палец правой руки припух и побаливал. Травмировал сустав с непривычки.

В Грековское я поступил, хотя баллы по профпредметам были досадно низкие. Даже карандашные работы, на которые я твердо рассчитывал, приемную комиссию не впечатлили. Прошел едва-едва, в самом хвосте.

Но дело сделано, я учусь в художке.

Мои однокашники – народ для меня загадочный. Я ожидал познакомиться здесь с такими же книжными выкорышками, каким был сам. Но будущие художники держатся странно. Пытаются изображать из себя Костю Дивного. Курят в туалетах. Обмениваются сальными шуточками. Поверить в их прожженную распушенность невозможно. Многих из них после занятий встречают мамы или бабушки. Непонятно, зачем все они решили играть в плохишей.

Положение добровольного изгоя, обживаемое мной, добровольно лишь отчасти. Но шел я к нему долго и последовательно. В школе я все-таки водился понемногу со всеми. Вступал в разговоры. Которые бывали достаточно поверхностны для того, чтобы казаться приятельскими. Здесь же я сразу постарался отмежеваться от всех – отойти и переждать. Художка не навсегда, и эти пижоны тоже. Сначала донимали, пытались растормошить молчуна. Не задружить, так посмеяться. Но потом я вlepил самому неукемному в ухо – этот особенно успешно мимикрировал под Дивного, – и от меня

отстали.

С первой любовью не задалось. Мерещилось много раз, но при внимательном рассмотрении каждая оказывалась не та, не такая, недотягивала.

А потом нагрязнула Нинка.

То, что происходило между нами, любовью никак не назовешь.

Все выглядело довольно несуразно, как сама Нина.

Сначала мы были коллеги по отщепенству. В художке Нина, как и я, держалась особняком, притянув на свою орбиту исполинский спутник – толстушку Злату, которую насильно запихнули в Грековское родители, портные, много лет общивавшие артистов любореченского цирка.

Нинка была безнадежно – и как-то неординарно, замысловато некрасива. Все, из чего она состояла, выглядело непарным, уложенным мимо пропорций, – но казалось, это не просто так, не от балды. Никаких ошибок – ее некрасивость существовала как будто в своей собственной гармонии.

Не помню Нинку в плохом настроении. Жизнь ее была светла и уютна и надежно заперта от любых обид. Кочевавшие по группе карикатуры Нина не замечала. В остроносых большеротых страшилах не узнавала себя в упор.

Мы с Ниной здоровались. Одалживали друг у друга точилки и карандаши. Обсуждали учебу в художке. В начале нашей путаной дружбы она, конечно же, отметилась банальностью, преследовавшей меня все мое детство: «А! Твой па-

па почти как Чехов! Врач и театрал». Но от банальности этой редко кто удерживался, это было как закончить поговорку, когда ваш собеседник запнулся и не договорил.

Вот, собственно, и всё. Но взгляды ее меня смущали.

На одном из первых пленэров Нина перешла в наступление. Преподаватель графики и композиции, добрейший и вечно осмеянный Виктор Юсупович, привел нас на лесистый холм за ботаническим садом, с которого открывался вид на восточную окраину Любореченска, и велел рассаживаться. Группа кинулась выбирать места на пологом травянистом пятачке за зарослями орешника. Мне же сразу приглянулся каменистый выступ слева от тропинки. Если смотреть оттуда, три кирпичные трубы: ликероводочного завода, кирпичного и самая дальняя труба районной котельной – выстраивались в ряд с равными просветами. Достаточно было правильно сыграть оттенком, размыв и утопив ненужные края, и низкорослый заводской Любореченск превратился бы в трехтрубный пароход, поставленный к пятнистым ботаническим зарослям на вечный прикол.

Я пристроил папку на колени и стал набрасывать.

Из-за кустов слышались шуточки-смешки одnogруппников, призывы Виктора Юсуповича работать, а не хохмить.

Минут через пять ко мне перебралась Нина.

– Тоже здесь хочу, – сказала она, располагаясь левее и ниже по склону. – Отсюда хорошо. А там ничего особенного. К тому же вся толпа.

Она могла бы говорить что угодно. Слова были не важны. Нина источала то, что на моем тогдашнем языке обозначалось жутким словом «похоть» — о которой я с боязливым усердием читал у Толстого и с томительным любопытством — у Бунина. Возле Нины я ощущал похоть всем своим неопытным естеством, как язык ощущает укусы электрической батареи.

— Ты много успел? — Нина разворачивалась ко мне вполоборота, широко отводя ногу и покачивая ею туда-сюда.

— Нет.

— Покажешь?

— Потом.

Она задрала юбку до бедер: «Жарко» — и развернулась ко мне лицом. Нина была моей ровесницей. Но смотрела глазами взрослой женщины, по какому-то недоразумению задержавшейся среди мелюзги. Ее набросок любореченской промзоны — беглый, еще не отененный — был таким же необъяснимо зрелым: ну, откуда она знает, что нужно выхватывать в первую очередь, рисуя завод или какое-нибудь депо с цистернами? Дюжина линий — и промзона уже на бумаге.

— Молодец, — буркнул Виктор Юсупович, постояв над Ниной.

И принялся тыкать своей складной указкой в мою папку, указывая мне на одутловатость контуров и неравномерность штриховки. Трехтрубного парохода, который я почти закончил, невзирая на парализующие Нинкины флюиды, Виктор

Юсупович не разглядел.

Когда после занятия мы спускались с холма и впереди за деревьями показалась брусчатка и заборы, а группа кинулась в ближайший магазинчик в надежде найти там лимонад или мороженое, Нина отделилась от Златы и дождалась меня на развилке тропинки.

– Прогуляемся? – кивнула Нина вглубь рощи. – Если что, Златка скажет, что мы на троллейбус пошли.

– В смысле – прогуляемся? – пролепетал я и почувствовал, как вспотели штаны.

Нина удивленно вскинула брови. Будто мы с ней давным-давно договорились и я в последний момент пытаюсь все испортить.

– Ладно. Если недолго.

И я пошел.

– Я все смотрю на тебя. Один нормальный человек в группе.

«Нина?! – думал я тем временем. – Бред! Бредовый бред!» Но было интересно пройти еще немного, еще шажок, посмотреть, что там дальше.

Мы вышли на поляну с останками недостроенного кирпичного здания. Стройка замерла когда-то на уровне второго этажа, и со временем процесс повернулся вспять: тут и там обвалились края стен, в окнах бушевала зелень.

– Стой, – скомандовала Нина.

Я остановился, она оттянула меня в сторону от тропинки.

Мне показалось, ее пальцы жрут меня, как щупальца плотоядного растения.

– Погода классная.

– Да.

– Люблю гулять в хорошую погоду. А ты?

– И я. Да.

– Смотри, что я у предков нашла, – сказала Нина и вынула из сумки несколько листков, испещренных фиолетовыми кривоватыми строчками.

Она стояла очень близко, я прикасался к ней то плечом, то бедром, я вдыхал ее теплый запах, от которого у меня ерзало и ныло внизу живота и в горле словно таял большой кусок масла. Грудь у Нины была маленькая и острая, как маковки инжира, я видел ее в расстегнутую сорочку.

– На.

Это была медицинская лекция «О половых отношениях мужчины и женщины». Заметив в моем лице что-то, что ее насторожило, Нина вырвала у меня листки и, найдя нужное место, принялась читать вслух:

– Тела мужчины и женщины должны быть чистыми, желательно после ванны или бани. Следует снять всю одежду, так как прикосновение голых тел приятно обоим, – Нина остановилась, оторвала глаза от бумаги.

Птичье лицо укололо нетерпеливым взглядом.

– Ничего себе, да? Лекция!

План ликбеза был продуман по-взрослому. Я слушал, за-

мерев.

– Какое-то время следует целоваться в губы, нежно поглаживая чувствительные места друг друга, такие как грудь, бедра, ягодицы. В какой-то момент мужчина почувствует, что его половой член затвердел.

Смотрел в покачивающиеся смоляные волосы и боялся, что она не даст мне шанса сбежать. До сих пор самым... прикладным из того, что я читал, были гусарские письма Лермонтова, стыдливо испещренные отточиями редактора.

Нина со своими листочками была запредельна.

Прервать ее я не смел.

– Нет ничего предосудительного в том, чтобы касаться половых органов друг друга. Однако переходить к этому следует постепенно, убедившись, что ваши действия доставляют удовольствие супруге (супругу). Помните... – Нина повысила голос, собираясь зачитать, видимо, самое важное.

Но что именно призывал помнить автор лекции, я так и не узнал. Из развалин раздался сердитый мужской голос:

– Чё вы там гундосите, пионеры хреновы? Чё вас тут носит, придурков?

Говорившего видно не было. Лишь подрагивало в такт его словам деревце в одном из окон.

Я впервые открыто посмотрел в ее глаза, почувствовав приближающееся спасение.

– Бомж.

Нина наклонилась, подхватила с земли камень и с размаху

запустила им в кирпичную стену. Мы побежали вниз с холма, гремя карандашами в фанерных пеналах.

– Там еще столько такого... кранты! – выкрикивала она на бегу.

С того дня Нина слегка приутихла. Она убедилась: мы созданы друг для друга, – и решила подождать, пока я с этим смирюсь.

Свое худое тело с бесконечной талией она носила так, будто его с секунды на секунду прихлопнет закрывающаяся дверь – и нужно успеть прошмыгнуть. И вечная улыбочка, и горящий глаз – казалось, ей хочется похвастаться своей ловкостью: оп, снова успела! В сидящей Нине было столько углов, сколько не в каждой скульптуре кубистов. Не знаю, осознавала ли она свою некрасивость. Отказывалась признавать? Жила ей назло? Или одна разглядела то, ради чего была сломана вся эта рутина стандартов и пропорций?

Улизнуть от Нины оказалось непросто. Притягательность запретного, преподносимого так запросто – как подают раз-ве что в буфете компот, действовала медленно, но верно. Не прогнав ее сразу, я словно натолкнулся в какой-то момент на особый интригующий ракурс, в котором хитрой головоломке, казалось, вот-вот будет найдена изящная разгадка.

Ее работы все чаще хвалили. Мои почти никогда.

Нина терпеливо со мной дружила, время от времени совершая пробные вылазки.

Несколько раз ходили в кино. Однажды на выставку кера-

мики.

Я всегда ее стеснялся. Она не могла не замечать. Но по своему обыкновению не придавала этому значения. Мы оба были белые вороны, для нее это все решало. Мои внутривидовые капризы, заставлявшие меня раз за разом ускользать от неизбежного, она великодушно прощала.

В конце весны Суровегин впервые дал отцу спектакль. Пока лишь новогоднюю сказку «Двенадцать месяцев» – и непонятно, кто будет играть: большинство «кирпичников» готовят с Суровегиным небывалую версию «На дне» – актеры без грима и костюмов, сцена вклинится в зрительный зал. Зато отцу предоставлена полная самостоятельность: никаких модернистских советов, никакого контроля. Суровегин даже деньги на костюмы раздобыл.

Давно мы не видели отца таким воодушевленным.

Его роман с Зинаидой, начинавшийся на моих глазах, я проворонил. Слишком поздно, когда ничего уже нельзя было изменить, раскусил, какую филигранную каверзу готовила нам судьба. Что-то она хотела этим сказать? Каких прозрений от меня добивалась? Или запросто, без всякой задней мысли, забавлялась на досуге своим умением плести парные кружева? Две истории: Зинаида и отец, я и Нина – развивались одновременно. И в Зинаиде, и в Нине был свой надлом... да что там, была ущербность: Нина некрасива, Зина пуста и зажата. И обе шли к намеченной цели упрямо, не отвлекаясь на сантименты. Хищницы-инвалиды. Они даже

рифмовались: Нина-Зина.

Ни о чем не сожалел я так, как о своем просроченном инфантилизме.

Спектаклям в «Кирпичике» отвели два воскресенья в месяц, остальное время там грохотали рок-концерты и дискотеки да любореченские художники-концептуалисты выставляли свои загадочные, на что-то намекающие творения.

Лето еще в разгаре, но отец уже всю занят работой над «Двенадцатью месяцами». Выпросил отпуск в больнице, нырнул с головой. Актеров на спектакль кое-как наскребли. С Падчерицей проблемы. Лопухова отказалась наотрез. Она собралась замуж, и будущий супруг – выдавший виды речной капитан запретил ей играть малолетних девиц: «И так разница в возрасте. Неудобно перед людьми». Другие актрисы «Кирпичика» не подходили кто годами, кто габаритами. Отцу предлагали пригласить кого-нибудь из профессионалов Любореченского драмтеатра – они охотно соглашались подшабашить в «Кирпичике» за ставку дворника или буфетчицы, – но папа, ко всеобщему удивлению, отдал роль Зинаиде.

Думаю, тогда они еще не были любовниками. И все могло сложиться иначе, не окажись речник Лопуховой таким самодуром.

В июле мамина директриса Клара Тимофеевна сломала ногу. Они сдружились в последнее время. И мама потащила меня с собой в больницу. На обратном пути заехали с мамой в «Кирпичик».

Во всем районе темень. Веерное отключение. Горят только уличные фонари. Отца в театре могло и не быть. Помялись, но решили проверить.

– Здесь, как же, – скрипит вахтерша. – Вон он, слышите? Голос.

Пропускает нас внутрь за такую же скрипучую дверь, поднимая повыше керосинку, которая мажет ее голову и плечи желтым маслянистым светом.

Из глубины «Кирпичика» доносится нервный гул.

– Что за репетиции в потемках-то?

Вахтерша кричит в самую гущу – туда, где коридор:

– Горррий Дмич-ч-ч! К вам пришлееее!

Стоим втроем вокруг керосинки, ждем ответа. Керосинка начинает коптить, сплевывает черные хлопья с желтого язычка. Голос в глубине здания замолкает, но ненадолго.

– Не слышит, – ворчит вахтерша. – Надо идти.

– Уже иду, – говорю я и ныряю в душную темноту коридора.

– Лампу-то возьми!

Лампа ни к чему. Я собираюсь удивить маму умением ходить по «Кирпичику» в крошечной темноте. «Да он как свои пять пальцев... с завязанными глазами...» Вытягиваю перед собой руки, иду мелкими шажками. Развилка, поворот. Снова коридор, «музыкальные» и «немые» доски, по которым я прохожу почти без промахов. Впереди качается свет. Сцена близко.

– Ты должна прямо сейчас взять и отбросить все это к черту! Взять и отбросить! – кричит отец. – Хочешь играть – играй. Играй! У тебя все для этого есть! Ясно? Я вижу. Сама себе мешаешь, Зина! Мешаешь сама себе! Ты, когда забываешься, и говоришь, как надо, и двигаешься. А потом – рраз! – вся окаменела, захлопнулась. Бе-бе-бе, – гнусавит отец. – Ауу! Зина! Нету Зины! Ты себе хозяйка или нет?!

– Хозяйка, Григорий Дмитриевич, – ноет Зина.

– Тогда бери себя в хозяйские руки и работай!

– Да, Григорий Дмитриевич. Я, что хотите... я все, я на все готова, только не прогоняйте.

– Да не прогоняю.

– Пожалуйста.

– Да не прогоняю! Но нужен прорыв, Зина. Пора уже.

Мимо сундука, на котором когда-то лежала трость, героически переправленная мной Сорину в правую кулису, прохожу на сцену.

Зинаида стоит, вытирая глаза уголком носового платка. Отец смотрит на нее рассерженно. Между ними табурет со свечой, вставленной в граненый стакан. Пламя свечи мечется от одного к другому, будто старается их помирить.

– Пап, – зову я.

Зинаида вскрикивает истерично. Отец молчит.

– Мы с мамой за тобой заехали, – говорю я и запоздало извиняюсь. – Простите, напугал.

Он бросается ко мне гигантскими шагами, хватает за руку

и тащит за кулису, откуда я только что вышел.

– Да-да, заработался. Идем, поздно уже.

У самой кулисы останавливается, поспешно возвращается, берет свечу с табурета.

– Извините, Зина, – бросает смущенно, беря ее под руку. – Идемте вместе. Тут с непривычки шею можно свернуть.

...У них скорей всего и случилось в театре. Немного погодя. В какой-нибудь из примерок? В кулисах? За фанерной перегородкой? В костюмерной, на ворохе сценических платьев, задиравших подолы вместе с рвущейся на волю Зинаидой?

Мама учит Зинаиду риторике. Сама предложила. Рецепт немудреный: почитать вслух, послушать. Папа упирался, но недолго. Зинаида ездит к маме в библиотеку, где в пропахшей клеем каморке слушает записи папиных чтений и сама читает маме монологи из пьес. Вечерами, когда отец на дежурстве, Зинаида приходит с ночевкой к нам домой. Они с мамой устраиваются в гостиной, и Зина учится говорить «с чувством, с толком, с расстановкой».

– «Я к вам пишу. Чего же боле? Что я могу еще сказать?»

– Нет, Зиночка, немного не так, – останавливает мама ее пламенную речовку. – Нужно начинать с обреченностью... «Я к вам пишу. Чего же боле?» Понимаешь, она все это давно пережила внутри, писала мысленно это письмо десятки раз, она повзрослела, сочиняя это письмо. И вот теперь, как

будто в омут... «Я к вам пишу...» Попробуй.

Зинаида учится быстро.

Еще бы! На кону вся она цельным куском, все ее неустроенные не первой свежести годы, прожитые в одиночестве вдали от родных. Грязноватая общага при техникуме, пронизанная липким, но недолгим вниманием ровесников, а главное – стареющих бабников из числа преподавательского состава, разведенных, пьющих, считающих молчаливую пигалицу своей законной добычей. Ведомственная квартира. Рабочие с крепкими руками, ногти с кирпичной каймой. Мастера и начальники цехов – люди с репутацией – долго и поразному ходят вокруг да около, чтобы потом предложить в лоб одно и то же... А на другой стороне жизни – в ореоле признания и всеобщей любви, подло атакуемый темными силами, – Григорий Дмитриевич, мой отец. Режиссер, волшебник. Большого никогда не будет. Ну и что, что чужое. Можно ведь краешком. Украдкой, как привыкла. Никому не мешав, ничего нигде не нарушив.

– Давай, Зина, давай.

– «Я к вам пишу. Чего же боле...»

– Во-от! Значительно лучше!

Если бы я сообразил, о чем на темной сцене при свете свечи прослезилась неисцелимая тихоня, я бы наверняка понял и остальное. Придя в себя, решил бы, возможно, на разговор с отцом. Поговорил бы с ним раньше, чем все полетело в тартарары. Всё могло бы сложиться иначе.

У отца бессонница. За полночь, убедившись, что сна ни в одном глазу, он спускается на кухню за валерианкой, хлопая тапками по ступеням. Я просыпаюсь и слушаю дальше: как он открывает кухонный ящик, как звякает пузырьком о рюмку. Под одеялом уютно. Ярко светит луна. Нежит голову не до конца рассеявшийся сон. Очень хочется пошептаться о чем-нибудь с отцом, все равно о чем, но чтобы по-взрослому и чтобы он не спешил отправить меня в постель – потому что завтра в школу и рано вставать... Но не решаюсь к нему выйти. Не знаю, каким его застану. Боюсь застать раскисшим. В щелке приоткрытой двери мелькает папина спина. Из кухни он пробирается тем же крадущимся шагом вверх по лестнице, только тапки теперь хлопают мягче.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.